PG3476
.K546
C5
1926

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

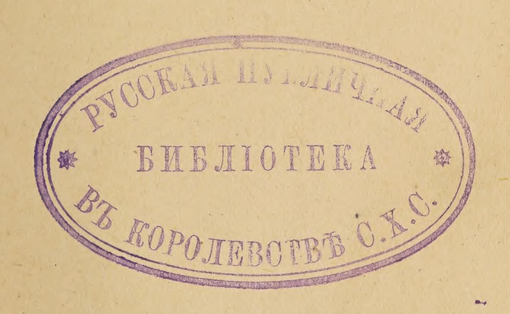
PG3476
.K546
C5
1926

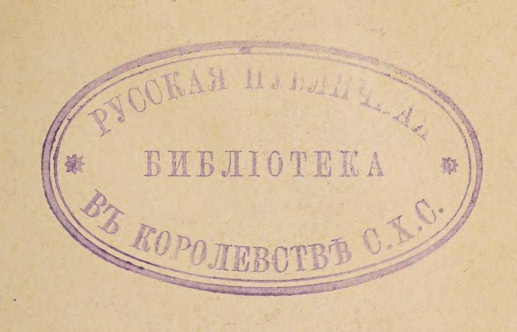
DEMCO

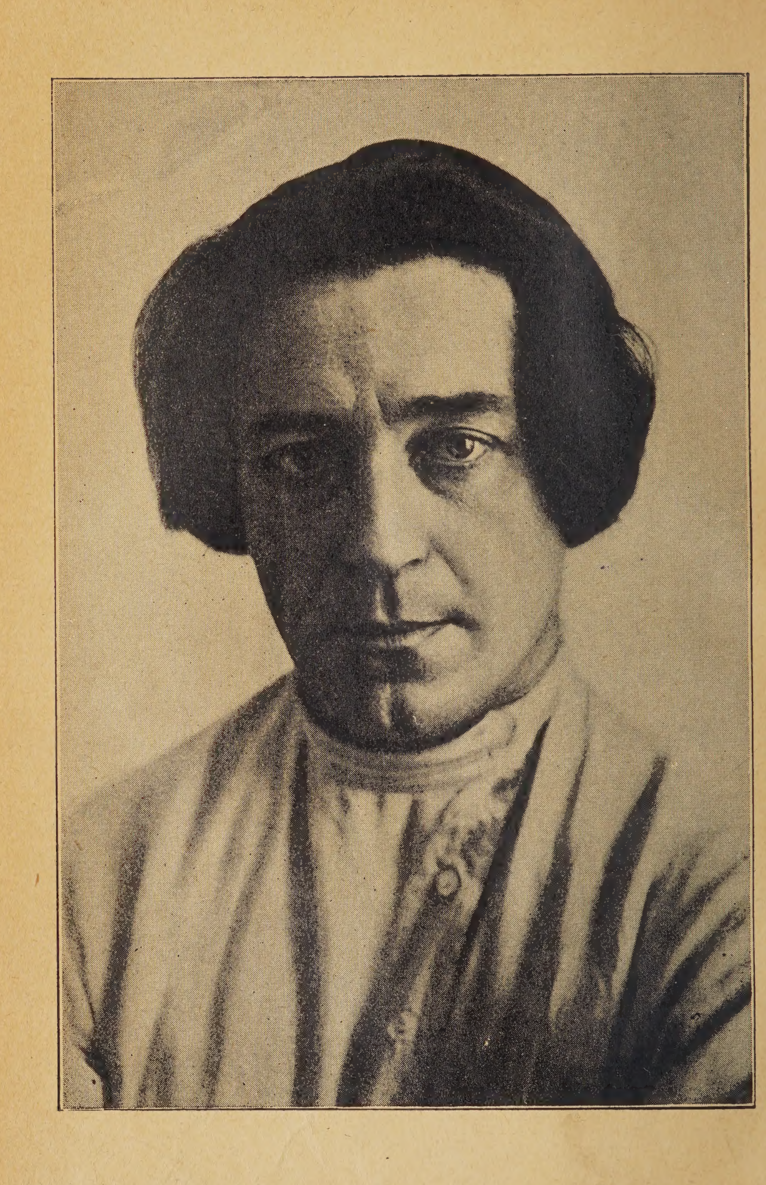
Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/chertukhinskibal00klyc

С. КЛЫЧКОВ
ЧЕРТУХИНСКИЙ
БАЛАКИРЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО


РУССКАЯ ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛІОТЕКА
ВЪ КОРОЛЕВСТВѢ С.Х.С.


РУССКАЯ [illegible]
БИБЛІОТЕКА
ВЪ КОРОЛЕВСТВѢ С.Х.С.



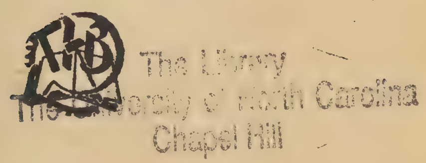
PG 3476
.K546
C5
1926

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

ЧЕРТУХИНСКИЙ БАЛАКИРЬ

20561

РОМАН



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1926 ☆ ЛЕНИНГРАД

CHERTUKHINSKII BALAKIR' : ROMAN

Типография Госиздата „Красный Пролетарий", Пименовская улица, 16.
Главлит № 67454 Гиз. № 16964
Тираж 5.000

ПРЕДИСЛОВИЕ

До последнего времени Клычков был известен исключительно как поэт-лирик из плеяды так называемых ново-крестьянских поэтов. Его имя произносилось наряду с именами Клюева, Есенина, Орешина. Уступая им в оригинальности дарования и эмоциональной насыщенности, Клычков, подобно им, был полон старо-деревенского консерватизма и мистицизма. Недавно Клычков дебютировал в прозе романом «Сахарный немец», а теперь появляется «Чертухинский балакирь». Не подлежит сомнению, что Клычков-прозаик несравненно сильнее и оригинальнее Клычкова-стихотворца.

Тема его нового романа—старая-престарая дедовская деревня. Роман густо насыщен суевериями, сказками, легендами. В числе действующих лиц мы встречаем лешего, русалок, оборотней, чертей всяких сортов. Вообще, Клычков блестяще разбирается в сложной адской иерархии и

классификации. Он ни за что не спутает «навного беса», который кусает баб по ночам, с «очажным бесом», бесом-домоседом, который никогда не выходит на улицу и в случае пожара сгорает вместе с избой, или с «соборным бесом». И вся эта «нечисть» с самым серьезным видом разгуливает по страницам романа.

Временами Клычкова берет сомнение: все-таки неудобно в 1926 году всерьез уверять читателя в существовании нечистой силы, неудобно даже крестьянскому поэту. И автор находит оригинальный выход: правда, теперь Ивашка Баран да Сенька Денщик по лешевой тропке в сенокосное время на лисапетах на Дубну к боровому плесу ездят купаться, но это доказывает только, что леших с е й ч а с нет:

«Теперь у нас в леших не верят, да и леших самих не стало в лесу... потому, должно быть, и не стало, что в них больше не верят. А было время—и лешие были, и лес был такой, что только в нем лешим и жить, и ягоды было много в лесу, хоть объешься, и зверья всякого разного как из плетуха̀ насыпано, и птица водилась, какая теперь только в сказках да на картинках, и верили в них и жили, ей-богу, не хуже, чем теперь живут мужики... Так, вот, по-вашему, по-молодому, выходит: теперь леших нет. Мы с этим очень даже согласны, но также правда и то, что лешие были... Как тут ни верти, а уж были»...

И если сейчас леших нет, так это только свидетельство о начавшемся угасании жизни:

«Должно быть, так уж это положено и иначе быть не должно и не может: потому, надо думать, и такое время придет, когда не только леших в лесу или каких-нибудь там девок в воде, а и ничего вовсе не будет, окромя разве пней да нас, мужиков, потому что последний мужик свалится с земли, как с телеги, когда земля на другой бок повернется, а до той поры все может изгаснуть, а мужик как был мужиком, так и будет... по причине своей выносливой натуры... Только тогда земля будет похожа сверху не на зеленую чашу, а на голую бабью коленку, на которую, брат, много не наглядишь...»

Эта мысль, что исчезновение леших—лишь начало обездушения и умирания земли, красной нитью проходит через весь роман. В мир природы, в мир старой деревни, где быль и небыль так тесно переплелись, что их не отличишь друг от друга,—врываются какие-то враждебные, ненавистные силы: «Обман великое дело... от обмана нарушается вся жизнь на земле...» Даже нечистая сила разорвала всякую связь с людьми, которые пытались ее обмануть. И поступила, по мнению Клычкова, совершенно правильно.

Роман Клычкова имеет свою стройную и целостную философию. Автор вложил ее в уста двух героев: лешего Антютика и мельника Спиридона Емельяныча. Не говоря о том, что роман позволяет считать их одним лицом, нельзя не признать, что миросозерцание лешего и мельника совершенно идентично и, уж

во всяком случае, очень родственно и близко друг другу. Самое мироощущение их в высокой степени органично, зоологично. Благодушному лешему самая наша «планида» кажется плавающим в рассоле в кадушке большим зеленым огурцом и жизнь на ней как огуречный душок, звезды же это—клюква на круглом блюде. Хорошо тому, кто способен чувствовать эту своеобразную примитивную гармонию вселенной. Но люди уже потеряли способность чувствовать эту гармонию. Леший Антютик называет героя романа Петра Кирилыча круглым и в ответ на изумленный вопрос поясняет: «круглый... только, Петр Кирилыч, круглый дурак... потому думает про себя, что он оченно умный, а на самом то деле, что и к чему у него все перед глазами—не понимает и никогда не поймет».

Человек своими специфическими чертами вносит разлад в примитивную гармонию мира:

«Самое главное: нет у человека правильного глаза на все... Ему больше... кажется, а он принимает всурьез... Глаз у него ленивый и надменный, от человечьего глаза сглаз даже бывает, когда этой черной силищи в кого-нибудь одного через меру накачено».

Человек разучился видеть красоты и богатства природы.

Между тем, тайна мира так проста, так доступна,—если бы не испорченный человечий глаз. Вот она, эта тайна в изложении дивной книги «Златые уста»:

«Помни, человече, на каждом столбе при дороге и на каждой пылинке с нее дух невидимо почил... И в мире есть одна только тайна: в нем нет ничего неживого!.. Потому люби и ласкай цветы, деревья, разную рыбу жалей, хоть дикого зверя и лучше обойди ядовитого гада!..»

Спасение в одном—в возвращении к природе, в восстановлении старой связи с гармонией мира. Тот, кто сумеет почувствовать гармонию вселенной, снова приобщится к тайнам природы, и сам спасется и скрасит жизнь окружающим. Снова сблизиться с природой—значит соединиться с богом, а трудно это современному человеку.

Из этого преклонения перед примитивной гармонией вселенной и тоски по утерянной связи с тайнами природы выводит Клычков свою особую, «мужицкую» религию. Эта религия далеко не совпадает с официальной старой православной церковью. Недаром хитрый соборный чорт разъяснил брату мельника Спиридона Андрею Емельянычу, что среди бесчисленных святых православной церкви нет ни одного мужика: «Мужики все в ад пойдут... Потому разве мужику косолапому по огненной нитке через геенну в лаптях пройти?..—Не пройти...»

А если среди святых—одни князья да попы, если мужикам через официальную церковь не пройти в лаптях в рай, приходится изобретать свои особые средства спасения. И вот мельник Спиридон Емельяныч заводит у себя на мель-

нице, в подпольи, особую тайную церковь и становится служителем своей неведомой религии, в которой причудливо переплетаются культ торжествующей плоти и мистический культ духа, он же—нетленная плоть.

Есть среди крестьян люди, которых в общежитии считают бесполезными, бездельниками, краснобаями, придурковатыми. Но эти «балакири» красят жизнь, ибо они более непосредственны, они ближе к слиянию с природой, к погружению в примитивную гармонию вселенной:

«...есть такие словогоны среди нашего брата—откуда у него это только берется, жалко вот только, что таких мужиков становится с каждым годом все меньше и меньше... Без них жить гораздо скучнее, да и... хлеб родится похуже».

Таков и главный герой романа «Чертухинский балакирь»—Петр Кирилыч. Этот лентяй и краснобай, за которого деревенские девки и замуж не хотели итти, которого презрительно попрекала хлебом золовка, оказывается наиболее близким к спасению.

Леший Антютик, после беседы с Петром Кирилычем, признает, что последнему доступнее, чем другим людям, тайны природы. Чудесный армяк единственного святого мужика Ивана Недотяпы (он же святой Варсонофий) оказывается как по мерке сшитым на Петра Кирилыча, а заключительная сцена весьма недвусмысленно подчеркивает мистическое значение балакиревской мечтательности:

«Только если взглянуть бы в окошко в ту ночь, так можно было бы подивиться: уж то ли так Петра Кирилыча облила светом лампада, то ли еще почему, только весь армяк на нем каждой ниткой горьмя горел, и то ли кудри это у него так золотились в лампадном свету, то ли с иконы упал ему на голову венчик—едва ли бы кто разобрал»...

Это мистическое слияние с природой, это преодоление обманных человеческих отношений тесно связано с общим мистическим и сказочным колоритом романа.

Я уже упоминал, что в числе действующих лиц встречаются лешие, русалки и оборотни. Даже месяц глядит с неба сказочным мужиком Иваном Ленивым. И сны героев соответствуют этому общему тону. Заснувшей после купанья на берегу реки Феколке снится сказочный царевич Сорочьего царства.

Вся эта «нечисть» и «нежить», все это введение сил потустороннего мира в бытописание до такой степени противоречат миросозерцанию и мироощущению современного читателя, что даже Клычков не мог не почувствовать этого. И он попытался прикрыть свое архаическое миропонимание возможностью реалистического истолкования описываемых явлений. Он, например, настойчиво подчеркивает, что, может, быть, леший—вовсе и не леший, а хитрый мельник Спиридон:

«Что—в самом-то деле был этот Антютик аль нет?.. Али им совсем и не пахло и каким-то бо-

ком тут ко всему прислонился хитрый мужик Спиридон Емельяныч?..»

Но все эти лукавые кивки не опровергнут того факта, что роман выдержан целиком в мистических и сказочных тонах и что основная его «философия» требует сказочной же, а отнюдь не реалистической трактовки отдельных моментов.

Роман написан безусловно весьма талантливо. Автор ровно и неспешно ведет повествование, не боясь, когда нужно, сделать экскурсию в прошлое или допустить лирическое отступление, но в то же время не затягивая романа слишком, не канюча, не канителя. Язык романа—слегка стилизованный язык мужицкого сказа. Однако и тут автор проявляет художественный такт и чувство меры, не впадая в чрезмерную разузоренность и сусальность (от чего не были свободны его стихи). Начав роман несколько надоедливой и слащавой ритмической прозой (очень близкой ритмическим изыскам Андрея Белого), автор затем берет себя в руки, и в дальнейшем ритм перестает быть навязчивым, начинает гармонировать с содержанием, законно усиливаясь во вставных легендах и сказках. Клычков умеет набрасывать запоминающиеся портреты действующих лиц и вытаскивать из-под спуда их затаенные внутренние переживания.

Эта бесспорная талантливость заставляет с особой серьезностью отнестись к основной идее, к основному смыслу романа. Выше мы установили,

что господствующее настроение романа—преклонение перед примитивной гармонией вселенной и тоска по утерянной связи с природой. Мы указывали также, что Клычков протестует против каких-то враждебных сил, нарушающих эту гармонию. Что же это за силы?

«Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей передушит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги—подрежет пилой-верезгой: тогда-то отвернется бог от опустелой земли и от опустелой души человечей, а железный чорт, который только ждет этого и никак дождаться не может, привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что чорт в духовных делах порядочный слесарь... С этой-то гайкой заместо души человек, сам того не замечая и ничуть не тужа, будет жить и жить до скончания века!»

«Вот смысл философии всей»! Клычков собрал всю нечистую силу, всех леших, чертей, домовых и русалок и двинулся во главе этой своеобразной рати против надвигающейся городской культуры и техники. Что ж, настроение не очень новое, но от этого не теряющее своего интереса. Этим настроением были продиктованы известные стихи Клюева, направленные против пролетарских поэтов. Это настроение внушило Есенину его потрясающий «Сорокоуст».

Оставим на мгновение вопрос о поэзии и перейдем к более «прозаическим» явлениям. Ленин

в 1918 году перечислил пять общественно-экономических укладов, имеющихся налицо в нашей стране. Вот эти уклады:

«1) патриархальное, т.-е. в значительной степени натуральное, крестьянское хозяйство;

2) мелкое товарное производство (сюда относится большинство крестьян из тех, кто продает хлеб);

3) частно-хозяйственный капитализм;

4) государственный капитализм;

5) социализм»...

И далее Ленин могучими мазками набросал карту «театра военных действий» на экономическом фронте:

«Главная борьба развертывается именно в этой области. Между кем и кем идет эта борьба, если говорить в терминах экономических категорий, вроде «государственный капитализм»? Между четвертой и пятой ступенями в том порядке, как и я их перечислил сейчас? Конечно, нет. Не государственный капитализм борется здесь с социализмом, а мелкая буржуазия плюс частно-хозяйственный капитализм борются вместе, заодно и против государственного капитализма и против социализма. Мелкая буржуазия сопротивляется против всякого государственного вмешательства, учета и контроля, как государственно-капиталистического, так и государственно-социалистического».

Эти «прозаические» ленинские положения имеют непосредственное отношение к нашей теме, ибо роман Клычкова есть не что иное, как художественное отражение борьбы, по выражению Ленина, «мелко-собственнической (и мелко-патриархальной, и мелко-буржуазной) стихии» против диктатуры пролетариата, против социалистического строительства, против электрификации, против «культурной революции».

Роман Клычкова талантлив и свидетельствует о значительном мастерстве, но ни талант ни мастерство не могут спасти от фальши художника, если тот положил в основу произведения реакционную идею. Роман Клычкова не может эмоционально заражать нового читателя, но он заслуживает серьезнейшего внимания, как яркое и даровитое выражение серьезного общественного факта. Выявляя патриархальную антигородскую и антисоциалистическую реакцию, роман Клычкова вводит нас в самое нутро этого общественного явления.

Г. Лелевич.

ЧЕРТУХИНСКИЙ БАЛАКИРЬ.

Г Л А В А   П Е Р В А Я

ЛЕСНАЯ СТОРОНКА

ПЕТР КИРИЛЫЧ

Не знаю, с кого начать, с чего начать!..

Садитесь, друзья мои, садитесь, товарищи, родня и знакомыши, не войдет все Чертухино,—тесно у меня в избе, зато широко у хозяина сердце!..

Буду я глядеть на вас с печки брюхатой, вспоминать всю нашу судьбу, как на поминальном обеде, все вспомню, ничего не забуду и навек закреплю, как торжественный дьяк челобитню!..

☆

Сторона наша лесная, дремучая, темная!..

Век по-заоколице ходит солнце за облаком, сощурившись на болота и гати, и редко выпадет час, когда, словно странники, упершись в дальние взгорья дождевым кривым подожком, уйдут облака в полуночи на самый край чертухинского всполья, где, огибая покатые груди холмов, вьется наша лесная шептуха—Дубна: тогда-то поплывут над рекой вдоль дубенского зелено-муравного берега соломенные и тесовые крыши,

и вознесется высоко, под самый месяц, колокольный купол чертухинской церкви, и с непомерной своей высоты поведет приподнятой бровью и моргнет хитрым глазом месяц, круглый, как именинный пирог!

Хорошо в этот месячный час выйти на двор из избы или спросонья взглянуть из окошка: кругом все, как и днем, только теперь все будто плывет, от земли оторвавшись, только туман накинул на все свои прозрачные тени; лес подошел к самой околице и машет широким рукавом на крыльцо, а по другую сторону поле тихо дышит еле заметными перекатами бугорков, убаюканное в своей большой колыбели!

Тогда-то и придет на разум наш, блаженной памяти, чертухинский враль, Петра Кирилыч, по фамилии Пенкин, у которого все в жизни было так же, как и у всех, только ему все казалось иначе, как, может, никогда и ни у кого не бывает, отчего мужик часто для себя самого невдомек— завирался.

Да и то надо сказать: иной проходит по лесу весь день, а и елки хорошо не увидит, и ничего с ним в лесу не случится...

Скушно у нас теперь без Петра Кирилыча стало!..

☆

Давно это было...

Лет, может, тридцать, а то и поболе...

О то время все наше Чертухино стояло всего

только на два порядка... Жили, значит, не очень обширно, не то, что теперь... В Чагодуй еще ни шоссе не было, ни железной дороги, стояли кругом леса, каких теперь больше не вырастет на этом месте, и в этих лесах чего-чего только ни шушилось... Мужики были домоседы, без нужды за околицу его не выгонишь, да и страшно было отходить от родного дома.

Один Петр Еремеич—был он тогда молодой да фартовый—куда только ни гонял свою тройку, да Петр Кирилыч на своих на двоих измерил, почитай, всю землю липовым лаптем: один был ямщик, а другой—побирушник.

Эх, нет теперь ни того, ни другого!..

Петр Еремеич в песне живет, а Петр Кирилыч в людской поговорке.

Говорили про Петра Кирилыча, что он в год своей смерти умирать все же домой воротился: будто нашли его мертвым возле церковной ограды и погребли в том самом месте, где наше кладбище дает в поле большой завулон; завулон потом, когда клали ограду из камня, решили спрямить, и Петр Кирилыч навсегда, знать, ушел из памяти ближних своих и родных...

Да мало ли что говорили!..

Может, Петр Кирилыч и впрямь тогда умер возле церковной ограды, а может, и нет, может, Петр Кирилыч жив еще по сю пору!.. Кто его знает?.. Наверное сказать что-либо про Петра Кирилыча трудно, потому что и сам он не в меру любил загибать, сиречь—речь говорится—при-

врать, и все так повернуть, что можно было дивиться, а не поверить нельзя!..

На то и прозывался: балакирь!..

☆

Чудна наша мужицкая жизнь!..

Подчас и не поймешь: для чего заведена вся эта ваторба?..

Живет, живет человек, переломает на веку столько, что в пору двум медведям на бору, а толку от этого—грош!..

Один крест на кладбище, под которым в родительскую субботу кутью клюют воробьи... Для этих воробьев человек, может, весь век свой хлопочет, и если кто мог бы—да встал из могилы, да посмотрел на тех воробьев, так тогда сам себя семь раз бы назвал дураком!..

Оттого, знать, Петр Кирилыч очень-то и не зарился на работу..

Сызмальства был он материн сын, большой лыня и увалень,—до казенных лет пролынили они с братом Акимом за отцовской спиной, большого горя и недохватку не видя... Когда же смерть подобрала стариков, Аким сразу, после ставки в солдаты, тут же женился—обоих их занегодили, была у них грыжа в природе,—по маковку завалился работой, как медведь в берлоге сучьем, Петр же Кирилыч, как был жердяем, так и остался!..

Любил он по зимам лежать на печке у локового окошка и читать по целым дням на тусклом

свету от него книгу «Цветник» (читать Петр Кирилыч дошел самоучкой по псалтырю и бакалейным пакетам), а летом больше провожался в лесу: любил Петр Кирилыч вольный березовый дух.

— Да здесь-то,—говаривал он,—каждый кустик ночевать пустит...

☆

Прожил так Петр Кирилыч, не делясь, первые годы после женитьбы старшего брата в полном с ним и хорошем согласии... Невестка Мавра Силантьевна попалась баба страх работящая, с утра до темной ночи кружилась она с подоткнутым подолом, из-под подола непривычно белели голяшки, отчего у Петра Кирилыча первое время колотило в виски и в глазах немного рябило... Потом обошлось, да и с Мавриных ног скоро сошел девичий снег: от неухода они покрылись красными цыпками, сжелтели и, должно быть, с работы, стали сильно тощать: каждый год Мавра ходила как с кузовом под передником, туго набитым, и не знала никакой передышки, не поспевая поутру лба как следует быть перекрестить.

Пошли дети один за другим у Акима, хотя первое время были они всем в немалую радость... Петр Кирилыч, если дома случался, с ребятишками возился за няньку, врал им на печке, что в голову влезет; Мавра круглый день сбивалась с ног со скотиной и зыбкой, а бессловесный Аким тянул и тянул мужичье тягло на горбу... Жили первое время, инда люди дивились...

Потом пошли нелады... Семья у Акима стала расти не по дням, а по часам, стало в избе тесновато и еще теснее в красном углу под божницей за дубовым столом.

☆

Качает Мавра в зыбке благого ребенка,—какую ночь напролет ревет и ревет, инда до хрипоты обревелся, и сами у нее слипаются веки.

«И не один ведь обревыш не сдохнет!..»—думает она про себя...

Подумала так и сама испугалась.

«Наверно, брюшко!» Спохватившись, нагнулась она над малюткой, и в это время ударил ей в уши здоровый, раскатистый храп, который, как колеса, катился с полатей, где всегда спал Петр Кирилыч.

«Вот человек зарожден,—в первый раз подумала Мавра, с завистью слушая Петра Кирилычев храп:—в парнях не гулял, жениться не женится и палец о палец не стукнет... не то, что мой дурак!»

В стороне, на тесовой кровати спал, как бездыханный, Аким. Одна рука у него свесилась вниз, и в окошко на нее бил полный месяц: будто рука Акима крепко зажала в мозолях месячный луч, переливаясь вздутыми синими жилами и пугая своей худобой.

«Осподи-бог-батюшка,—тихонько говорит Мавра, крестясь на темный образ угодника Миколы в углу,—кожа да кости, куда что девалось! Ка-

кой был ведмедь!.. Да и не диво: с утра до темной ночи как на точиле!..»

Залегла с той поры в ней тайная, нерушимая злоба на Петра Кирилыча, долго прятала она сначала ее в себе, а потом, когда шестым затяжелела, решила поставить все на своем и Петра Кирилыча от дома отшить...

☆

— Слушай, Аким,—завела она в глубокую полночь однажды разговор после мужниной ласки,— долго так будет?..

— Чего ты еще, Мавра?..—не понимая, тихо спрашивает Аким.

— Чего, чего?.. Кажись бы, и сам мог догадаться!.. Насчет брата!

— Ну!..

— Ну-ну, как безголовый... На лихву нам, видно, бог послал такого братка... вот что...—шепчет Мавра Акиму под одеялом,—вон про него что добрые люди судачат!..

— Полно, Мавра, не греши, как другие!—еще тише шепчет Аким.—Брата язык его губит!

Приподнялся Аким и уставился на полати, где стрекочет сверчок и безмятежно Петр Кирилыч задувает в обе ноздри.

— Это все душегубная кровь... толкает она его от работы и от всякой думы... Добро бы что приносил...

— Мавра!..

— Да ну тебя: офеня!.. Офеня и есть!..

«Не услыхал бы,—думает Аким про себя и опять взглянул на полати,—баба дура, ей что взбельмешится в голову, самому чорту не выдумать!..»

— Диво ли: мужик гладкий, ничего не делает!—глубоко вздохнула Мавра и повернулась к мужу спиной, зацепила привычно ногой за веревку от люльки и скоро заснула.

«Да. Оно что правда, то правда... да поди ж ты!»—не раз сказал Аким сам себе, после разговора с женой не сомкнувши дóсвету глаз.

☆

Стала Мавра на Петра Кирилыча сильно коситься и куском его попрекать... Сидели они както раз за столом, Аким и Мавра молчали, а Петр Кирилыч забавлялся с рыжим Пронькой.

— Вырастет Пронька, непременно разбойником будет!—сказал Петр Кирилыч, вздумав пошутить.

Мавру всю обдало жаром.

— Разве ты окрестишь,—ответила она через минуту, поглядела на Петра Кирилыча—рублем подарила, и отодвинула от него чашку с мурцовкой.—Разве ты окрестишь да научишь, братец родимый!..

Петр Кирилыч так и осекся, недоуменно глядя на Мавру и брата, который сидел и, как не его дело, зобал ложку за ложкой.

— Аким, чтой-то седни навной, что ли, Мавру укусил?—попробовал Петр Кирилыч перевести все на шутку.

— Эх, ты балакирь!.. Валтреп Иваныч!..—пропела укоризненно Мавра под самый нос Петру Кирилычу,—у какого воробья, и у того есть дело, а ты вот сидишь да за ложкой потеешь!..

— А и верно это, Аким?.. А?..—заглядывая брату в глаза, спрашивает Петр Кирилыч.

— Совершенно!—буркнул Аким.

— Ты бы хоть, хахаль, женился, а то ни семьи в дому, ни свиньи в двору!.. Какой же ты мужик после этого? Смех один да слезы, а не мужик!..

— А твое как рассуждение, Аким?..

— Совершенно!—опять тихо и смущенно промолвил Аким, не глядя на Петра Кирилыча.

— Ну, коли по-твоему так, так и по-моему эдак: ищи, Мавра, невесту... Нарядим подклет: буду мужичить!..

— Нешто кабы... Только что же это ты думаешь: под окном они у тебя сидят, дожидаются... Упустил жар из печки: борода в колечки!.. Теперь за тебя ни одна дура не пойдет!..

— Не чешись забором, Мавра!—весело ей говорит Петр Кирилыч.

— Чего уж тут: не мужик, а картина, не язык, а колоколец... Только, братец родимый, кто на руки-то спор, тот на язык не скор!..

— Полно, Мавра, от одного слова весь мир пошел!..

— Валтреп!..

— Наладила!..

— В сам-деле, Мавра, чего талабонишь попусту!—осторожно заметил Аким, в искосок посмо-

тревши на Мавру.—Тыр-быр—семь дыр, а толку никакого! Чего тебе надо от брата? Живет и живет человек!..

— Молчи, коровье ботало!.. Лучше молчи у меня, а то так дерну ухватом...

И взаправду протянула бы Акима по спине, если бы тот не увернулся и не выскочил в сени.

— Ну, значит, пошла заваруха!..—сказал Петр Кирилыч и полез на полати.

Скоро Петр Кирилыч на полатях заснул и что видел во сне—бог его знает... Только во сне все время бредил, говорил какую-то нескладицу и с кем-то, видимо, спорил. Когда же к вечеру Мавра, смякнув, разбудила его вечерять, он поклонился ей в ноги, не сказавши при этом ни слова, вышел тут же и в эту ночь домой не воротился, а воротился только на другое утро по-рани и где пропадал эту ночь, и что с ним этой ночью случилось, узналось только потом, потому что Петр Кирилыч пришел домой бледный и сам на себя не похожий, с большими мешками у глаз и весь как осовелый.

Мавра взглянула на него, когда он воротился, и только перемигнулась с Акимом.

Петр Кирилыч полез на полати, а Аким стал улаживать соху, у которой, как у собаки язык на жаре, на пашне от камня заворотился на-бок лемех.

☆

С той поры все пошло кувырком.

Петр Кирилыч, как вечер, уходил из дома и пропадал где-то, как казалось Мавре, безо вся-

кого дела, потому что на деревне его вместе с парнями было не видно.

А время шло и шло своим чередом...

Катится время, как раскатистые сани на полозах. Уж весна прислонилась к сельскому плетню за околицей, прибавился день на шаг человека, и работы прибавилось втрое: надо поле перепахать и посеять, надо копать огороды, да еще с пузом... На все это у Мавры и у Акима рук не хватало, и еще пуще подмывало Мавру на брань.

— Ишь, шатается, пес непривязанный!—говорит она поутру, когда промелькнут в окне Петровы русые кудри.—Найдет же какого-то дела на всю ночь-ноченскую.

В последнее же время Петр Кирилыч совсем было пропал, дня три под - ряд и глаз домой не кажет. Аким заявку хотел подавать, да Мавра отговорила:

— Несь сидит под мостом... на большой дороге.

— Ох, только, Мавра...

— Заявишь еще, скажет тогда братец спасибо да еще за заботу... задушит!..

— Мелешь, Мавра, со зла такое не-дело, что и слушать тебя не охота!..

— Разуешь глаза, сам увидишь!..

Аким больше молчал. В глубине своей бессловесной и миролюбивой души касательно женитьбы Петра Кирилыча и его домоустройства он был во всем согласен с женой, но не хотел увеличивать свары.

«Бабу надо Петру,— думал Аким про-себя,—

надо, надо женить, только вот к кому бы посватать!..»

— Как, Мавра, никому не закидывала?—спросил он жену.

— Раньше называлась... Морды воротят: балакирь!.. Дуньке-Дурнухе седни на выгоне было закинула... Куды тут!.. Так и зашлась!.. «Не славьте,—говорит, Мавра Силантьевна, попусту, сделайте милость, потому, если вы,—говорит,—зашлете сватов за такого балакиря сватать, так другим дорогу закажете...»

— Дурной чорт,—сплюнул Аким,—диви человек, а то сопля-соплей, а тоже туда же!..

— Сряды три сундука!—поджавши губы, говорит ему Мавра...

— Что сряда?.. Девка-то чучело!.. Тьфу!..

— В одеже и пень—барин!..

Обидно сделалось Акиму за брата, и мысль о его женитьбе еще безотвязней и крепче засела у него в голове, не привыкшей ни о чем думать подолгу, как только по хозяйству да о работе.

— Да нет... На это дело свата хорошего надо!.. Чтоб с языка мед капал...

Мавра ему на это только процедила:

— Дурафан!..

СВАТ

Теперь у нас в леших не верят, да и леших самих не стало в лесу... потому, должно быть, их и не стало, что в них больше не верят. А было время—и лешие были, и лес был такой, что только

в нем лешим и жить, и ягоды было много в лесу, хоть объешься, и зверья всякого-разного как из плетуха насыпано, и птица такая водилась, какая теперь только в сказках да на картинках, и верили в них и жили, ей-богу, не хуже, чем теперь живут мужики.

Должно быть, так уж это положено и иначе быть не должно и не может: потому, надо думать, и такое время придет, когда не только леших в лесу или каких-нибудь там девок в воде, а и ничего вовсе не будет, окромя разве пней да нас, мужиков, потому что последний мужик свалится с земли, как с телеги, когда земля на другой бок повернется, а до той поры все может изгаснуть, а мужик—как был мужиком, так и будет... по причине своей выносливой натуры!..

Только тогда земля будет похожа сверху не на зеленую чашу, а на голую бабью коленку, на которую, брат, много не наглядишь!..

Все еще будет!.. Всему свое время!..

Так вот, по-вашему, по-молодому, выходит: теперь леших нет! Мы с этим очень даже согласны, но также правда и то, что лешие были! Как тут ни верти, а уж были!..

Петр Кирилыч так говорил!..

Что правда, то правда, что Петру Кирилычу можно верить только с оглядкой, потому что Петр Кирилыч любил загибать через каждое слово, но дело-то в том, что и мы не стали бы верить, если б самый их главный леший Антютик не был у Петра Кирилыча сватом!..

Тут уж никак нельзя не поверить, потому что у нас в Чертухине живы и посейчас старики, которые у Петра Кирилыча были на свадьбе и могут обо всем рассказать, если только сами еще чего не прикрасят.

Случилось это все так.

☆

В тот самый вечер, когда Петр Кирилыч поклонился в ноги невестке, он вышел было до ветру на двор...

— Экую весну бог посылат раннюю да теплую!—сказал Петр Кирилыч, становясь за куток.

Смотрит Петр Кирилыч: плывет над Чертухиным месяц и словно янится, что больно светел да высок... Слушает Петр Кирилыч, как полощутся на бочаге, как бабы с бельем на плоту, без счета прилетевшие утки и узывно посвистывают в свои тонкие дудочки на песке кулики, и под этот свист и утиный гал в самом Чертухине, на другом конце, девки тонкими голосами выводят хороводную—синее море...

Слушает Петр Кирилыч, и от всего этого ёкает у Петра Кирилыча сердце... Не заходя назад в избу, повернул он от кутка прямо на улицу и по улице, заложивши руки за спину, как барин, пошел неторопливо на выгон... На выгоне,—видно на месяце,—кружатся девки, разметая подолами, инда от них по сторонам ветер тихий идет, а вокруг девок, как тетерева на заре,—вся холостежь!..

Прошел так Петр Кирилыч все наше Чертухино, думая про себя, что невестка говорит, пожалуй, по делу и что ему непременно,—благо красная горка,—надо этой весною жениться... И невдомек Петру Кирилычу, с каким смешком смотрели на него чертухинские мужики, сидевшие перед сном на завалке.

— Петр-то Кирилыч?.. А?..—перемигнулись они только, когда Петр Кирилыч мимо них прошел и никому головой не мотнул, потому что никого не заметил.

Подойдя к выгону, на котором девки вели хоровод, Петр Кирилыч встал немного поодаль, под высокие липы, что и теперь еще живы, только словно облезли и начали от старости сохнуть; в то же время за этими липами стояла небольшая избушка и жила в ней бобылка, не тем будь помянута, наговорная баба Ульяна.

Долго простоял Петр Кирилыч под липами, прислонившись боком к стволу, а потом сел на завалок под Ульянины окна и стал пристально разглядывать девок.

Показались они ему одна одной лучше,—на месяце каждая девка—царица!..

«Как же я допрежь-то не видел?—удивился сам себе Петр Кирилыч,—бывало у той нос-водонос, у той рот-наоборот, а тут и от Дуньки-Дурной никак не оторвешься...»

С этого часа и начала весенняя луна над Петром Кирилычем шутки шутить.

☆

Так и просидел бы Петр Кирилыч, пока не кончили девки вести хоровод, если бы не раскрылась над его головой оконная решотчатая створка: на плечи ему—не успел Петр Кирилыч и обернуться—легли голые крепкие руки и завились у него мертвой петлей на шее...

— Пришел ко мне Петр мой Кирилыч?!. Пришел!..—Иди, иди в избу скорее...—услыхал Петр Кирилыч за собой задыхающийся бабий голосок, по всему похожий на теткин Ульянин.

Никак не может Петр Кирилыч понять, что это тетка Ульяна вздумала с ним пошутить: у одних она слыла за большую причудницу и прибауточницу, веселую бабу, другие же судачили, что бес ей плюнул в ребро, и с той поры она-де может с тобой сделать что ни захочет: захочет тебя в барана обернуть али в волка и... обернет и сама обернется, в кого ни вздумает. Однажды Петьке-Цыгану высыпала за околицу столько зайцев из подола, что тот весь порох расстрелял, а домой... ни одного не принес!—Такая после чорта у бабы появляется сила!..

Тут же, видно, ведьме на старости лет под хвост попала вожжа, и она немного срахнулась: главное—рук никак не разнять, завязались они у Петра Кирилыча на шее, как бант какой праздничный, и Ульяна все шепчет, все шепчет ему в самое ухо, только что́ она шепчет, ничего хорошо не разберешь.

Видит Петр Кирилыч, что дело выходит совсем не на шутку, и потому немного приподнялся с завалка, чтоб как-нибудь освободиться от Ульяниных рук: крикнуть нельзя — людей насмешишь, а Петр Кирилыч задумал жениться.

— В дом возьму, ненаглядный Петр мой Кирилыч!.. Не гляди на меня, что бобылка!..

— Пусти, тетка Ульяна... ради бога пусти!— шепчет и Петр Кирилыч.

— Али брезгуешь?

— Не срами на людях... слышишь, пусти!

И вздумал было рвануться, но не такие руки были у бобылки Ульяны. Почуял Петр Кирилыч, что немного еще, и он задохнется в этой бобыльей петле, так и не женившись на какой-нибудь чертухинской крале.

«Осподи Суси!»—сказал Петр Кирилыч сам про себя.

Уж то ли устала Ульяна держать силком Петра Кирилыча за воротки, то ли еще почему, только сразу руки Ульяны словно размокли и стали покорные и бессильные, как девичьи в первую ночь.

Петр Кирилыч освободился от них и плюхнул вниз на завалок; оконце тут же захлопнулось над головой, и еле слышно из-за стекла Ульяна, придерживая станушку на бобыльей груди, пригрозила:

— Подожди, балакирь, свое я возьму!..

Петр Кирилыч плюнул ей под окно и подошел к девкам поближе...

☆

Встал Петр Кирилыч возле самого круга и заложил для форсу ножку за ножку: так много красивей!.. Уставил непривычно на девок глаза, и в голове у него от ихнего круга тоже стало вроде как немного кружиться... Очувствовался он, когда у самого носа увидел большой, как завертка в оглобле, Максяхин кулак и у самых глаз его нескладную рожу с кривым ртом, с зубами на улицу, с губами-шлепанцами и с носом, похожим на земляную лягушку: шли у Максяхи по носу такие пупырья, как у лягушки на спинке!..

— Что, балакирь, девок пришел отбивать?.. А вот этого спробовать хошь?..

— Что ты, Максях?..

— Живо получишь!..

— Я так... поглядеть!..

— Знаем мы эти поглядки... Мавра тобой девкам все глаза протыкала!.. Выбираешь, поди, какая по вкусу... Видно: губа не дура!.. Только попробуй, я те пробор-то причешу по-другому!..

А у Петра Кирилыча и впрямь по русым кудрям хорошо ложился пробор: прям, как дорожка во ржи, и уж не так он его и холил, а, видно, добрая мать еще в зыбке любящей рукой разгладила его навсегда!..

— Ей-богу, Максим, понапрасну!..

Парни глядят на них и смеются, что дальше будет—интересно, а девки попрежнему безучастно плывут по чуть пробившейся травке и поют хо-

роводную—синее море... Таков уж девичий обычай: девки в хороводе песни поют, а парни возле них кольями дерутся—пускай их, лишь бы нас не тронýли!..

— Катись!—крикнул Максяха в самое ухо Петру Кирилычу и повернул его за плечи, колонув в спину коленом, но Петр Кирилыч не повалился, только шатнулся немного и пошел от хоровода, не спеша, впервые почуяв, что такое обида и горечь ни за что, ни про что. Зашагал он прямо по улице и на середине села свернул по лесному выгону в поле, за которым в то время много ближе к селу стоял наш дремучий чертухинский лес...

Опустил Петр Кирилыч от этой обиды свою русую кудрявую голову и не видит уж, как катится по небу месяц, чекая яркие звезды: чеканет, а они и падают вниз, соединив золотой ниткой на один вещий миг небо и землю...

Слышит Петр Кирилыч громкую песню, которую хоровод затянул у него за плечами: парни запевают, вроде как спрашивают, девки подхватывают, вроде как отвечают...

— Наш чертухинский балакирь
Распустил с полатей враки!..
— Говорит, что он мужик:
На боку весь день лежит!..

«Правду говорит Мавра: жар упустил!—сказал сам себе Петр Кирилыч, слушая заливистые девичьи голоса.—Что правда, то правда!..»

Идет Петр Кирилыч непокрытый, в одной рубашке, без пояса, под рубаху ему весенний теплый ветерок поддувает, и месяц смотрит на него с самой середки неба, и губа у месяца будто съехала в сторону, смотрит он на Петра Кирилыча и тоже смеется...

Завертелась у Петра Кирилыча снова в голове разная блажь, с которой и прожил он весь свой век, как иной проживет его с бабой...

☆

И не заметил Петр Кирилыч, как вошел он по большой дороге в опушку. По опушке стояли розовым клубом прилесные ольхи, и сквозь них серебрились изредка гладкими точеными стволами осины, рудела сосна и червонела елка, бог знает зачем вышедшие сюда на прилесок из матерого леса...

В лесу все как помолодело с весной и теперь млеет умытое и обогретое в весенней теплыни и расправляет в земле захмелевшие корни... Скоро лес пошел густой и высокий, дорога просунулась меж еловых стволов, вытянутых в струнку, как солдаты на часах, и между ними становилось все темней и темнее...

Вдалеке попрежнему ухал сыч-ухало, утки на реке заливисто крякали и селезни дрались, трепыхая на воде за версту крыльями...

«Как бы ведмедь не заломал,»—подумал Петр Кирилыч, остановившись, огляделся кругом и увидел, что уже дошел до самой Густой Елки на про-

секе и что дальше будет Светлое Болото, на котором и жил в тá поры леший Антютик...

«Да чего доброго, вместо ведмедя самого бы не встретить!..»

Вот в эту-то ночь как раз и встретил Петр Кирилыч Антютика в лесу, а может, и сам он к Петру Кирилычу вышел, потому что, как увидим потом и не сразу, было у этого Антютика к Петру Кирилычу дело...

☆

Прилег Петр Кирилыч на мох под Густой Елкой и загляделся наверх, а вверху все горит и сияет, как на каком празднике, зве-езд—до лешей матери, и на самой середке неба, как напоказ, остановилась луна...

«Отчего это только луна круглая?—спросил сам себя Петр Кирилыч,—ишь ведь какая, словно обточенная!..»

— Есть о чем подумать, нечего сказать!.. Эх, ты, балакирь!—услышал вдруг Петр Кирилыч совсем рядом с собой насмешливый голос.

В лесу тихо, рядом никого нет и не видно, чтобы и поодаль кто-нибудь был, а голос...

«Что бы это такое?—озадачился Петр Кирилыч.—Ведь это... пожалуй...»

Уперся Петр Кирилыч против себя и в темноте скоро разглядел муравейник, а возле муравейника мохнатую кочку, из кочки этой идут по земле большие усы, на манер травы белоуса, над усами шапка, а под шапкой то ли зайчики от луны играют, то ли горят на Петра Кирилыча в самый

упор большие да зеленые такие глаза, как у рыси, когда она на человека с елки засмотрится...

— Ты что за пыхто?—отважился Петр Кирилыч спросить.—Ты что, говорю я, за человек будешь?—повторил Петр Кирилыч погромче, потому что ответа никакого не получил...

В лесу стало еще тише, и по небу запрыгали звезды, и месяц стронулся с места и покатился под синюю гору, во всю мочь обливая еловые лапы зелено-искристым светом...

— Я... не чело... век!—вдруг отвечает кочка.

— О-о!.. Что же ты баба, что ли?—опять спрашивает Петр Кирилыч.

— Нет, Петр Кирилыч, и не баба...—говорит опять кочка,—я не баба и не мужик,—говорит,—а что-то вроде того и другого!

— Ну, уж это ты немного... того!..

— Ничего даже не того... Я—твой сват!..

— Вижу, что сват... потому больно... усат!..

— Как хочешь... Только такого свата тебе не найти...

— Где тут!

Петр Кирилыч приподнялся на локтях, чтобы получше разглядеть, и стало почему-то ему ни капельки не страшно, потому что голос такой умильный да ласковый, а откуда он идет, пока хорошо не поймешь...

— Я,—слышит опять Петр Кирилыч,—вижу твое положение и готов тебе поелику помочь... Вот только, если ты будешь согласен...

— Вот мать честная!..

— Тогда мы это дело живо обделаем... Чего проще—найти тещу? Так хочешь?..

— Да как же не хотеть: от меня все девки морды воротят!..

— Это что... будешь, Петр Кирилыч, не бала-кирь... а кум королю!..

— Только вот невестка говорит, что жар упустил: ничего, пожалуй, не выйдет!..

— Выйдет... Я хочу тебе посватать... дубенскую девку!..

— Что ты?.. да она ведь утопит!..

— Не утопит у нас... я скажу, так не утопит!..

— Ну, если так,—говорит Петр Кирилыч,—тогда нешто бы... А она... то-есть эта самая девка... как?... ничего?.. красивая?..

— Как кобыла сивая... Да ты разве ничего не знаешь про... дубенскую девку?..

— Слыхать вроде, как слышал, а чтобы наверное что-нибудь, так не скажу, потому что не люблю много врать, как другие!..

— Правильно, Петр Кирилыч, говоришь: у людской породы язык нехороший, вранливый... Ну-ка, вставай, да пойдем, Петр Кирилыч, а то скоро на Чертухине будут петухи петь!..

Петр Кирилыч вскочил с земли, и тут-то и разглядел хорошо, кто это ему собрался высватать дубенскую девку и какие они на самом-то деле бывают. Петр Кирилыч потом говорил, что много про них в деревнях идет пустой болтовни и что совсем они, совсем на самом-то деле бывают другие...

Что у мужика деревенского язык, что у серой коровы на шее ботало, все едино!..

Потому-то и перестали сами же верить во все эти совсем и нескладные враки про бороды, хвосты и рога, а они, то-есть вся эта нежить и небыль, взяли да и кончили с нами всякое дело. Доведись это и нам: кому же придет большая охота вязаться с разным треплом, которому только и заботы, как бы тебя понезаметней обойти да обакулить!..

Обман—великое дело!..

От обмана нарушается вся жизнь на земле!..

Вот Петр Кирилыч говорил нам потом, какие они с виду бывают и как эти лешие вообще родятся на свет. Оказывается, из ничего ничего не бывает, и у лешего, как и у всего, тоже есть корешок...

☆

Разговор этот у них завелся, когда Петр Кирилыч поднялся с земли, а рядом с ним стала расти у него на глазах зеленая кочка, пока не выросла такая высокая и плечастая, что шапка на ней пришлась Петру Кирилычу в самую ровень.

— Пойдем, Петр Кирилыч,—говорит Петру Кирилычу леший,—нечего зря провожаться...

При этих словах леший махнул длинной лапой в ту сторону, где лежит Боровая дорога, и перед ним, как по команде солдаты, кусты, ели и сосны,

какие тут были, посторонились и стали еще прямее друг против дружки. Смотрит Петр Кирилыч, пролегла сразу, как шнур у портного в руках, прямая тропа, похожая очень на просек, только не просек, потому просек проложен не тут, а гораздо правее. Эта тропа так и осталась с тех пор, хотя рощу не раз уж сводили, пока совсем ее не доканали.

Пропали лесные тропки,—было их в старое время в лесу, как паутины в углу: там зверь пройдет, там богомолец,—заросли они травой и мхом затянулись... Только на Антютиковой тропе и по сию пору растет один белоус да костырь, как щетина, потому много позднее прогнал Антютик по этой тропе всех больших зверей из нашего леса—куда: неизвестно!

Заказал, вишь, старый леший на этой своей тропке никакой съедобной траве не расти, чтоб была она ему в вечную память!..

Вот только знают ли про это про все Ивашка Баран да еще Сенька Денщик? По этой тропке они в сенокосное время теперь на лисапетах на Дубну к Боровому плесу ездят купаться?.. Начальство!

Наверно, что нет!..

А мы вот все помним и знаем!..

☆

Идет Петр Кирилыч рядом с Антютиком и разглядывает его во все глаза: как это, дескать, леший выглядит во всей его полной натуре?

Допрежь всего у него нет никакого хвоста... Этот хвост прицепили ему совсем противу натуры... Видит еще Петр Кирилыч, что леший одет вроде, как он, в таком балахоне, каких уж теперь совсем и не носят, потому что вышли из моды, но только если по разности на него будешь смотреть, сначала на ноги, скажем, а потом на башку, так станет чудно,—ни на одном человеке того не увидишь: будешь долго смотреть, а никак не решишь, что это—мужик стоит перед тобой али баба...

Когда его Петр Кирилыч об этом спросил, то-есть почему это он похож то на мужика, то на бабу, так Антютик ему только и сказал:

— Этого,—говорит,—ты, Петр Кирилыч, сейчас не поймешь, а вот, когда я тебе сосватаю дубенскую девку да тебя со Христом поженю, тогда и увидишь, что это такое: это,—говорит,— от того, что в нашей лешей природе никакого сунгуза не бывает!..

А что это такое за сунгуз такой, Петр Кирилыч расспросить его постеснялся, а повел речь издалека и о другом...

— Скажи, сделай милость,—говорит Петр Кирилыч,—вот когда меня мать, царство ей небесное, на этот свет родила, так Петром назвала, а как у тебя будет имячко?..

— Как же, как же,—отвечает леший,—без имени никакой вещи на свете не существует... Зовут,—говорит,—меня мужики Антютик, а бабы Анчутка...

— На Анютку похоже, если, как бабы!..

— Только, видишь ли: меня мать не родила!..

— То-есть как же это так не родила?—удивляется Петр Кирилыч.—Откуда же ты на свет выскочил?..

— Я же тебе говорил, Петр Кирилыч, что у нас все по-другому... У нас все касательно того-сего идет без сунгуза... Трудно мне тебе объяснить: мы родимся совсем по-другому!..

— Вот бы послушать!—говорит Петр Кирилыч...

— Э?.. Разъело губу?.. Любопытна же эта ваша порода, страсть... Только себе на погибель, потому человеку... многое лучше не знать!..

— Нет, уж ты, Антютик, мне рассказал бы... Если тебя там сумление какое берет, что, дескать, потом всем разболтаю... так ей-ей во мне, как в могиле!..

— Да мне-то што... тебе и так ни в чем не поверят... скажут: балакирь!..

— Верно, Антютик!—печально согласился Петр Кирилыч...

— По этому самому: слушай...

Лес, кажется, так и наклонился к земле, низко распушили свои подолы столетние ели, сосны взбучили шапки и березы выставили на ветер маленькие ушки, которые только-только обозначились в ветках, слушают они, видно, вместе с Петром Кирилычем своего лесного хозяина и никак наслушаться не могут.

— Родимся мы не в естестве, а от молоньи...

Вот когда молонья ударит в какую-нибудь елку в лесу или сосну, только в такую, у которой непременно не меньше ста поясков на комле... Знаешь, по чему у дерёв считают года?..

— Понимаем!—отвечает Петр Кирилыч.

— Так вот, когда в такую стогодовалую елку ударит молонья и расщепит ее на-пополам и сожгет ее по самую землю, так в горелом пне после нее долго потом сидит небесный огонь, как в материнской утробе... Наподобие, как и у человека: семя жены, по писанию!..

— А-а-а...—протянул Петр Кирилыч,—семя жены?..

— Да... Проходит так год, а может, и больше, и два, и десять лет может пройти,—какая погода,—пень этот стоит и стоит, пока у него, у пня, не вырастут руки и ноги, и в самом верху из-подо мха, которым он за эту пору весь обнесется, не прорвутся гляделки с зеленым таким огоньком, каким горят все гнилушки в лесу... Только опять надо тут различать... разбирать надо так же, как и в человеке,—один человек гожий, а другой такой, что кажется сотню раз лучше бы было, если бы он совсем на свет не казался,—так и с каждым пнем в лесу: один пень и пень, ни на что другое не годный, как только подкуривать им в подовиньи, а другой пень годящий,—его в печку не сунешь и голыми руками не возьмешь...

— Н-нно!—не удержался Петр Кирилыч.

— А что? не веришь? Никакой вагой такого пня не скорчуешь, когда на него, то-есть, как

это сказать: пень—значит уже не на пень,—а на нашего брата на вырубке где-либо наткнешься...

— А ведь это вот как часто бывает... семь потов сгонит, а хоть бы с места.

— Да ты, Петр Кирилыч, лучше слушай... Известно, будешь даром потеть, и наутро зря пораньше придешь: никакого пня на этом месте тебе не найти, потому пенек за эту ночь... убежит!..

— Убежит?..

— Убежит!.. А тут увидишь совсем гладкое место, и на этой плешине будет цвести земляника, сиречь ягода, которая только там и растет, где леший погреет на месяце спину... Пригреется леший, заснет, а заснувши под месяцем, и не заметит, как стукнет об землю золотое кадило и поплывут по полю и лесу туманы, и в этом кадильном дыму леший будет на этот день уж не леший, а... пень!..

— Пень? Скажи, сделай милость!—дивится Петр Кирилыч...

— Только опять про то же: надо его различать, а то в лесу разведешь землянику, а печку зимой будет нечем топить!..

— Не знаю уж доподлинно кто, а кто-то мне про все это рассказывал в полной подробности...—замысловато закинул Петр Кирилыч, дотого ему все было интересно выпытать да разузнать. Благо такой случай...

— Не знаю уж какой Фрол тебе плел... только, Петр Кирилыч, слышишь ты это впервые...

потому этого человеку не дадено знать... У человека и разум человечий, а у зверя—звериный... а у нас вот ни то, ни другое, но... если то и другое сболтать... да ты, я вижу, мало что понимаешь?..

— Как не понять? Понимаем!.. Только дивлюсь вот, как у тебя все это выходит кругло!..

— Не-е-ет!.. Ничего ты, Петр Кирилыч, я вижу, не понимаешь! В мире, Петр Кирилыч, все круглое. Недаром же ты сам дивился на месяц: выплывет в иной раз,—как от хорошего токаря большое блюдо кто вынесет... Да, брат, делали все это не плетари какие-нибудь, а золотые умелые руки: без ошибки!.. Потому круглый месяц, круглое солнце, кругло и колесо... у телеги, потому что телега иначе не стронется с места, а на то она и телега, как на то же и месяц, и солнце, чтоб не стоять на одном месте, а катиться и катиться по небу.—Куда?.. Вот этого, брат, никто уж не знает, потому у этой дорожки нигде нету конца.

— Астроломы знают!..

— Астроломы—дуроломы: не знает никто... Мир, Петр Кирилыч, как большая кадушка, и в этой кадушке засол без прокиса... Знаешь, как бабы солят огурцы?

— Ну вот бы не знать... Сперва воду до ключа греют, а потом соли кидают...

— То-то и дело, что: соль... А сколько вот, чтобы огурцы не прокисли?

— Не мало не много, а так... чтобы враз...

— Ну вот, по этому по самому любая баба больше знает о мире, чем астролом... потому астролом огурцов не умеет солить... И как бабы солят их, тоже не знает... Все дело в яи... чке...

— А... а! То-то Мавра солит с яйцом...

— Видел: яйцо в рассоле плавает, вниз и вверх само по себе куда ни захочет... само.

— И верно: хороши у нее огурцы...

— То же самое вот, к примеру, и наша планида. Плавает она в рассоле в кадушке, большой зеленый такой огурец, и жизнь на ней, как огуречный душок: потому, хороший... рассол...

— Так же значит и... звезды...

— Полно, Петр Кирилыч, какие там звезды: клюква это растет... Это нам отсюда кажется: звезды!..

— И блюдо круглое...

— В мире, Петр Кирилыч, все круглое... потому, Петр Кирилыч, сам-то человек, если ты сам на себя поглядишь хорошенько, к примеру сказать, тоже круглый...

— Круглый?..

— Круглый... Только, Петр Кирилыч, круглый дурак... потому думает про себя, что он оченно умный, а на самом-то деле, что и к чему у него все перед глазами—не понимает и никогда не поймет...

— Где понять...—согласился Петр Кирилыч, взглянувши на небо.

— Да, не поймет,—повторил Антютик, тоже

пощурившись кверху,—потому у того, кто это все делал, остался... секрет...

— А кто это... будет?..—хитро спрашивает Петр Кирилыч.

— Не знаю, Петр Кирилыч,—ответил Антютик,—ей-богу, не знаю!..

«А вот отец Микалай, верно, знает!»—подумал про себя Петр Кирилыч...

— Ну, вот, Петр Кирилыч, как у нас с тобой все это складно вышло,—вдруг заговорил Антютик веселым шепотком,—потрепались малость и незаметно пришли...

Взял Антютик Петра Кирилыча за руку и остановился...

— Ты пригнись-ка к земле... послушай хорошенько, как твоя краля поет: голосок у нее соловьиный!..

Петр Кирилыч пригнулся и по росе услыхал, как в прибережных кустах защелкал первый, должно быть, только что прилетевший на Дубну соловей,—водилось их на Дубне в старое время, сказать теперь: не поверят!..

Запел соловей и разлился весь сразу, словно серебристый горох на воду рассыпал, а потом опять причмокивать начал и словно на маленьких хрустальных пальчиках прищелкивать: дескать, хорошо!.. хорошо, чорт возьми, на Дубне!.. И под его щелканье шумит в плотине вода, и завороженный лес шумит, и под соловьиные пересвисты и перечмоки вдруг в самых ушах у Петра Кирилыча запел нежный и печальный девичий голос, как

бы издалека зовущий и плачущий вдалеке, отчего и у Петра Кирилыча, должно быть, больно заколотилось в груди, в глазах потемнело, и все заволоклось в весенний душистый туман:

Над серебряной рекой, на златом песочке
Долго девы молодой я искал следочки...
А следов как будто нет... Их и не бывало...
На кого же, дева-свет, меня променяла?..
Не с того ль легла тоска в сердце молодое,
Что златой песок река унесла водою?..
Что серебряной рекой увел по песочку
Барин, парень городской, мельникову дочку?..

— Хорошо поет, Петр Кирилыч!—говорит Антютик, так и расплывшись своей скуластой рожей.

Смотрит Антютик на Петра Кирилыча, и не может Антютик понять, что это такое творится с Петром: весь он согнулся и припал к земле, и руки рвут чуть заметную травку на ней, и в глаза ему словно кто налил чистой дубенской воды, отчего они стали еще светлее и чище, и синева в них переливается такая же глубокая и густая, как и у Антютика зелень...

— Петр Кирилыч,—говорит ему Антютик,—вот теперь и ты мне скажи, потому что и я теперь не понимаю... Я, видишь, знаю, отчего у вашего брата бывает под носом мокро, это и у зверей тоже, когда сопливая болезнь у них заведется, а также в звериной старости это бывает, но вот почему и кто это тебе в глаза сейчас налил такой чистой воды, убей меня—не пойму!..

Антютик пригнулся к Петру Кирилычу и лизнул ему по глазам языком. Такой у него язык теплый, большой и шершавый, как лошадиный...

— Ба!.. да она, эта вода-то, соленая!.. Отчего это, Петр Кирилыч, скажи?..

— Не знаю, ей-богу, не знаю... вспомнилось что-то, а что... и сам я, Антютик, не знаю,— тихо говорит ему Петр Кирилыч в самый его ноздрятый нос.

— Вот,—говорит Антютик,—эта самая дубенская девка и есть... Теперь нам бы только ее половчее засватать... Тебе полно лежать, ну-ка, вставай... вставай, а не то я...

Петр Кирилыч обмахнул глаза рукавом и поднялся.

— Ты тут, Петр Кирилыч, постой за кустами, а я... сейчас... живою рукой!..

— А ты ее, Антютик, не испугашь?.. Уж больно ты... того... неказист!..

— Это нешто: ночью нам даден зарок—войти в любой образ, хошь в овечий, хошь в человечий... На то и луна, Петр Кирилыч, по небу плывет... Стой тут, Петр Кирилыч, а я сейчас... живою минутой.

Сказавши это, Антютик сначала присел до самой земли, словно уминал что под собой, потом вдруг припрыгнул выше самой высокой елки в лесу и оттуда гукнул на всю округу так, что семиверстными шагами далеко по лесу загугукало перекатное эхо, и на него длинным мыком ото-

звался, словно в большую трубу протрубил, старый чертухинский лось, зовя к себе заблудшую на жировке лосиху, гукнул еще раз, так, что ели пригнулись над головой Петра Кирилыча, и по кустам прошел тихий ветер и дрожь, потом со всей высоты грохнулся оземь и у самых ног Петра Кирилыча ушел в землю...

Петр Кирилыч боится и рукой пошевелить, и каждый сучок в лесу тоже присмирел, и не шелохнется ни одна ветка, стало в лесу в этот час тихо и затаенно, как в церкви в двенадцатый час...

«Вот он как леший кричит... Ррррряхl»—прошептал Петр Кирилыч...

Вдруг лес зашумел, прошел по нему из конца в конец легкий и веселый ветерок, листва на березах раздулась, как мехи на гармони, ветки замахали рукавами на Боровую дорогу, в кустах опять защелкал во все пальцы соловей, и Петр Кирилыч, обернувшись назад, увидал в темноте, что по дороге идет старик в длинной поддевке с полами ниже колен, с чуть тронутой проседью скобкой волос под валяной шапкой, подпирается старик палкой и еще издали, видно, чтобы не пугался, машет Петру Кирилычу свободной рукой...

Петр Кирилыч встал и нерешительно пошел ему навстречу...

— Ты, Петр Кирилыч,—шепчет старик,—посиди тут... отдохни... а я сейчас... одною минуткой!..

И снова, едва поравнявшись, исчезнул из глаз.

☆

Сел Петр Кирилыч на пенек возле дороги и стал терпеливо дожидаться...

«На кого он только похож?—думает Петр Кирилыч про сéбя, зажавши кончик бородки в зубах.—Вроде как я его где-то видел, а где... и когда...»

Но так и не вспомнил, потому что памятен был не на людей, а на побалачки и прибаутки, отчего и прозывался: балакирь!..

Г Л А В А В Т О Р А Я

ДУБРАВНА

БОРОВАЯ МЕЛЬНИЦА

Кто не знает нашей Боровой мельницы!..

Не смотри, что стоит она в таком захолустьи, откуда ни одной купольной луковинки хорошо не видать, разве только услышишь темный грудной звон нашего чертухинского колокола и заливистый на бабий лад шалтай-балтай гусенской колокольни.

Зато нигде так голосисто не поют соловьи и так заунывно не кукуют кукушки!.. Будто жалуются они с высокой березы, что день ото дня по земле коротает мужичья дорожка, и что над этой дорожкой год от году и кукушечья песня короче...

Эти две птички у мужика всегда на примете: одна считает года и провожает в могилу, а другая весной в полуночь мирит со сварливой женой.

Также и то еще: нигде не водятся такие большие сомы, как на Боровом плесе возле мельницы!..

Часто по осени, когда вода в реке присмиреет, попрозрачнеет и все видно в Дубне до самого дна, поглядишь в нее и не поймешь, что там лежит на песке: бревно или сом?..

И нигде в другом месте—эх, видно, и на свете-то есть только одна такая река!—под вечер так не полощутся шелеспера, самая быстрая рыба, у которой серебряные плавники, а зубы острей, чем у кошки...

А уж окуней да плотвы—про тех и говорить нечего!..

Инда подчас дурно на воду взглянуть, когда окунье со всего плесу подойдет к колесу на быстрой воде половить хлебную пыль и обметки...

Мужик же все это любит, хотя он тебе того и не скажет, а ты сам не заметишь, потому ты к нему подойдешь, а он первый от тебя отвернется, особливо если его застанешь, когда он, дожидаясь очереди на жернова, бессмысленно будто на воду глядит: ты не подумай, что это он так, от нечего делать!

Нет, брат, ему все это любо!..

Только тебе он не скажет, а если и спросишь, так равнодушно ответит:

— Ну что ж: она вода и вода!..

...и отвернется с такой сердитой серьезностью, которая к этому случаю совсем не подходит!.. У него уж такая повадка!..

☆

Выстроил эту мельницу барин наш Махал Махалыч Бачурин и долгое время сам на ней промышлял, пока не разбогател и от богатства своего не оплешивел... Потом и совсем ее продал гусенскому масленнику Спиридон Емельянычу... Как

и на каких условиях перешла она масленнику во владение—хорошо никому не известно!..

Разное про это болтали. Что кому вздумается, тот то и плетет.

По нашему же крайнему разумению, барин наш Махал Махалыч на мельницу Спиридон Емельяныча просто прельстил, потому что сам-то был, может, как про него говорили иные, хоть и жулик большой, но к тому и большой книгочей и волховник, а также умел глаза отводить: сменял барин Спиридон Емельянычу мельницу на какую-то очень редкую книгу!..

Все это хорошо не известно, зарубки ни на чем не осталось!.. Доподлинно правильно то, что мельником на Боровой мельнице был Спиридон Емельяныч и что у этого мельника после смерти второй его жены Устиньи Васильевны остались две девки...

Одну звали Феколка.

За красоту и пригожесть прозвали ее по местности Феклуша Красивая.

Другая—Маша.

Та пошла в худобу и неказистость, и прозвище было у нее нехорошее: Непромыха!..

Феколка и в самом деле была девка—находка!..

Было что-то у нее в лице такое написано, что заставляло подолгу смотреть на ее свежий румянец, на круглые щеки с круглыми пушистыми ямками возле розовых губ, когда она чуть улыбнется—такая была во всем ее лице девичья ни к чему непричастность и ни в чем невиновность:

робость красит девичье лицо лучше карамельной бумажки...

Потому, должно быть, Феклуша и не засиделась долго на отцовской спине: стукнуло ей на семнадцатый год, и от сватов да от свах не стало никакого отбоя, хотя и приданого за ней большого не числилось и слыла она за белоручку и чистеху, потому что росла в холе и в отцовской потачке. По хозяйству да по мельнице с отцом больше хлопотала Маша-домоседка, народу чужого хотя и не держали: не любил Спиридон чужие глаза...

Сам же Спиридон Емельяныч глядел на Феклушку, как на картинку...

☆

Гуляла как-то у нас Феклуша в Троицын день в Чертухине и вместе с другими вела хоровод. Случись о-ту-пору к нам Авдотьи Клинихи сын Митрий Семеныч: жил он тогда в городу, имел мастеров, сам был мастер первой руки и вел сапожное дело...

Приглянулась ему в хороводе Феклуша. Он и не думал было жениться, приехал так больше для-ради разгулки домой, а тут сразу приколодило и защемило сердце, как лису в капкане...

Подослала Авдотья сватов, но Спиридон Емельяныч с первого же дня стал упираться и от прямого ответа артачиться... дескать, жених, что зря говорить, очень хороший, даже об этом Спиридон Емельяныч не спорит, но... городской человек,

увезет Феклушу на чужину, а она к чужой стороне не привышна, к тому же она у него на старости лет всего и отрады...

Нечего делать: пошла Авдотья сама, хотя это по деревенским нашим старым обычаям и не полагалось... Зазор!..

Пришла Авдотья Михайловна на мельницу и сначала то да се, дескать, пошла за малиной, а вышла эна куда, глядит: мельница, ну, и зашла... Потом видит, что Спиридон Емельяныч зевает и слушает ее с неохотой и, видно, только ждет, когда она будет говорить по делу или уйдет: чего зря трепаться! Известно—какая это малина и где она растет. Поняла все Авдотья и в разговоре неловко и ни с того ни с сего круто повернула на сватовство.

— Скажи на милость, Спиридон Емельяныч, чего ты канючишь?..

— Да я, Михаловна,—говорит ей Спиридон,—я... ничего... ничего не скажу про жениха: жених, что же—хороший, что говорить!.. Всем вышел, и лицом, и крыльцом (польстил Спиридон Емельяныч: дом был не ахти, но Митрий Семеныч собирался, по слухам, выгрохать двухъэтажный!)... и лицом и крыльцом... только у нас, видишь, по вере...

— Чего же это такое, Спиридон Емельяныч, по вере? Небось, мы не щепотники какие!..

— Да не говорю ничего: по вере есть... недомолвок!..

— А ты бы сказал: небось, мы не попы!..

— Ты пришли-ка на завтра сынка: я его немного пообрукаю... Он ведь у тебя понятный... на разное мастерство доделистый!..

— Вот еще, да что ты, Спиридон Емельяныч: несь я ему мать!.. Говори!..

— У тебя, Авдотья Михаловна, по вере понятия мало!..

— Ну-к что, что мало: может, пойму!.. А и не пойму, так тогда еще подовторишь!..

— Насчет воздержания надо нам установиться.

— Так отчего же, Спиридон Емельяныч: можно!

— Да ты слушай сначала: на каждый день по нашей вере полагается... год. Значит, три года...

— Это что же три года? Вот уж тут не пойму!.. Скоромного не есть, что ли?..

— Я же сказал тебе, Михаловна, что большого разумения по вере у тебя быть не должно, хотя ты и не знаешь щепоти... Чувствуй: Христос тридневно воскрес!..

— Понимаю: тридневно!..

— Поняла, скажем... Теперь: каково нам заповедано эти три дня хранить нерушимыми в жизни нашей и сердце?.. Ведь спаситель был три дня в... смертной плоти!.. Познал плотскую смерть, как и не мы же грешные, то-есть был мертв!..

— Понимаю: иже из мертвых!..

— Отсюда и заповедь: не убивать своей плоти—могий да может!—а во искупление трех смертных дней спасителя мира искуситься во плоти три года, когда плоть получит венец!..

— У меня, Спиридон, как дым в голове: слу-

шаю тебя, а и, правду ты сказал, мало что понимаю... Наше бабье дело: плакать да бить побольше поклонов, когда страсти читают!..

— Опять же, как ты не поймешь,—уже вошел в жар Спиридон Емельяныч,—насчет воздержания надо нам установиться: об нем и идет разговор!..

— Какого, вот я хорошенько в толк не возьму... Пост наложить?..

— Пост тут плевое дело: три года молодые должны друг друга не трогать... ни персью, ни естеством!..

— Вот оно что... батюшка, Спиридон Емельяныч: не вынести... подумать только: три года!..

— Три года!..

— Может, сколько-нибудь да скостишь!..

— Эко слово: скостить!.. Не в моей воле... Видно, нам с тобой, Авдотья Михаловна, ни до чего так не допеться. Иди-ка ты лучше малину сбирать. Феколка тебе тут наши места покажет! Она у меня—ох, ягодница!..

— Что ты, Спиридон Емельяныч, взъерошился?.. Я ведь по-бабьи сказала... нельзя, так и ладно,—испуганно заспешила Авдотья, оглядываясь по комнате: не слыхал ли кто?..

— Согласна?..

— Ты лучше ведь знаешь, как надо по вере, чтобы все было по уставу да по правде...

— Согласна или нет, тебя последний раз спрашиваю?—привстал с лавки Спиридон Емельяныч с лицом строгим и непреклонным, с бородой, так и напружившейся вокруг порозовевших его щек.

— Сог... ласна!—тихо ответила Авдотья и сама привстала.

— Ну, если согласна, сватья, давай, становись под икону, положим для крепости начал, а потом об руки стукнем!..

Выкатила Авдотья на Спиридона Емельяныча глупые бабьи глаза и ничего ему больше не сказала, встала под икону, Спиридон бросил ей под ноги подрушник, тонкую подушечку, покрытую сверху парчей и с шелковым подбоем, перекрестился и выбрал себе толстую и длинную, а Авдотье лестовку, какую поменьше...

Долго Авдотья Михайловна и Спиридон Емельяныч молились...

Авдотья во время молитвы одним глазом косила Спиридону Емельянычу в спину и, сжавши тонкие, четко прочерченные губы, думала про него, что такого борового медведя и боровой медведь не переломит: вспомнила она старую историю про Спиридона Емельяныча,—был у него один такой случай с медведем!..

В тайне своей бабьей души, далекой от мудрости веры, она решила сама про себя, что ничего путевого и прочного с ее сыном из этой заповеди не выйдет, но что все же Феколка девка им подходящая: не городская шеромыжка и не деревенщина—серая голь!.. Потому-де, на деле там будет виднее...

«Ни кто же, как бог!»—не раз сказала она просебя, кланяясь за Спиридон Емельянычем в землю и глубоко вздыхая,—столоверки во время молитвы

все часто вздыхают: вот-де, какие мы грешные!— потом снова внимательно начинала следить за широкой спиной Спиридона, чтобы не пропустить какого поклона, и когда кланяться в землю, и когда только в пояс, потому что сама поклонного устава не знала, а поклоны спутать в молитве нет того хуже: зазря пойдет вся молитва!..

Спиридон же молился истово, с расстановом, как только одни старые столоверы умели молиться, с осанкой клал широкие и большие поклоны: пока рукой грудь обведет! В землю кланялся сразу на оба колена, как конь к воде на крутом берегу, не как мирские: одной ноги не донесет, а уж снова как столб! Читал молитвы ирмоса и псалмы, не глядя на подставку с толстой книгой в кожаном переплете, по краям с медными большими, как засовы у ворот, застежками, так и оставшейся не раскрытой, потому что клал ее Спиридон Емельяныч на подставку для-ради порядку, читать же был не особо горазд и больше брал все по памяти: любой богослужебный чин знал Спиридон Емельяныч на память до последнего слова!..

«Не хуже любого попа отчитат!»—думала про него Авдотья...

Потом Авдотья упрела и наполовину уже не слушала Спиридон Емельяныча. Стала она, переминаясь затекшими ногами на месте, поглядывать часто на окна и думать о том, что так, пожалуй, Спиридон домолит ее до скотины... Держала Авдотья лестовку в руках, забывши уже переби-

рать на ней ременные шарики, чтобы отсчитывать амини и поклоны, и думала, взглянувши, из какого добра лестовка сплетена, что шарики на ней крупные, и похожи они на овечьи говешки... Потекли так в голове Авдотьи мысли привычные и теплые, как будет хозяйство с молодухой расти, хорошо бы внука поскорее, дом выстроить потеплей, и скоро заметила, что за окнами в опущенных низко ветках берез начинало чуть розоветь!..

Как-то мелькнули перед Авдотьей в окне два больших синих глаза и полыхнули кумачевым полохом две круглых румяных щеки, на стекле будто осталась нежная девичья улыбка, на которую Спиридон Емельяныч, не прерывая молитвы, только сурово махнул для креста занесенной рукой: то ли это Феколка, заждавшись решенья отца, дотянулась до оконца с завалка и украдкой заглянула в него, то ли это уже заходила за рощу заря,—только Клиниха улыбнулась еле заметно Спиридон Емельянычу в спину и положила не по правилу глубокий поклон.

Скоро Спиридон Емельяныч перешел на частые поясные кресты, читал молитвы не вслух, а просебя, отчего борода быстро подымалась краешком и опускалась на грудь, и с последним земным поклоном поднял свой и захватил Авдотьин подрушник, потом положил еще три поясных и, повернувшись к Авдотье, поцеловался с нею три раза, и оба они поклонились в ноги друг другу...

— С богом, сват!—сказала Авдотья.

— С богом, сватья!—ответил Спиридон.

Долго еще Авдотья просидела потом со Спиридоном на лавке, покрытой вышитым полотенцем, в красном углу и обо всем,—где венчаться, чтобы попы про веру не пронюхали, где свадьбу играть, какое будет все же за Феклинькой приданое, цацы да вацы,—наговорилась досыта!..

☆

Спустя две недели, в конце красной горки, у Авдотьи Клинихи была веселая свадьба. Спиридон Емельяныч сидел рядом с Авдотьей и пил холодную воду, потому другого чего себе не позволял. Избенка у Авдотьи хоть и немудрящая, о два окна у самой земли, но зато у Митрия Семеныча паили дела в городу, человек мастеровитый, одет, как барин, карман с отворотом. Собралось, почитай, все Чертухино, из Гусенок немало наехало всякой родни, столы вынесли на улицу и тут же на улице уставили четыре бочки из-под капусты, пропаренных перед свадьбой с можжевелкой, и в бочках шапкой пенилось и выбивало за край густо захмеленное на изюм пиво...

На этой свадьбе был и Петр Кирилыч...

Первый раз в своей жизни Петр Кирилыч набрал в рот мертвой воды, молчал, сидя в углу, и сперва не шел ни на какое веселье, инда всем глядеть на него было чудно...

Да и трудно было Петру Кирилычу подыскать себе подходящую компанию: с парнями он век не водился, до девок был неохоч, а с мужиками

ему тоже неловко, потому: неженатый; все сидят с женами, как и люди, один Петр Кирилыч, не как человек,—ни в тех, ни в сех!..

Сидит Петр Кирилыч сычом за столом и то-и-дело тишком поглядит на середину стола, где рука об руку с Митрием Семенычем, таким же черным, как Петька-Цыган, покрыта вся белой кисеею Феклуша, и на ее подвенечном сарафане, плотно облегшем упругую грудь, голубые цветочки...

«Раздуванчики какие!»—подумал про себя Петр Кирилыч и почему-то покраснел.

И Феклуша тоже взглянет как бы ненароком на Петра Кирилыча из кисеи и неизвестно с чего так и зальется вся краской... Что уж у них там допрежь этого было, никому хорошо не известно, а может, и ничего не было, а... так...

Ну, да этого никто и не заметил: деревенский глаз не очень дометлив!..

☆

Только к утру Петр Кирилыч словно сорвался...

Схватил он Ульяну в охапку и прошелся с нею такого круга, что у всех глаза вылезли на лоб: больно уж Петр Кирилыч мастер был отрабатывать ногами и языком в скороговорку разные хитрые завитухи.

Я не сам пляшу:
Меня черти трясут...
Чертеняточки
За пяточки
Подяргивают!

Отбил Петр Кирилыч все каблуки у сапог и своими балачками надорвал подпившим мужикам животы: никогда еще в Чертухине не было такого веселья, бабы и мужики нализались все вповалеху и когда продрали глаза, чтобы опохмеляться и опохмелять жениха, так на самой лучшей тройке Петра Еремеича Авдотьин сын Митрий Семеныч уже катил во весь дух возле Чагодуя, а может, и дальше, а с ним вместе, прижавшись к нему, и мельничья дочка Феклуша...

ДВУИПОСТАСНАЯ ТВАРЬ

В тот вечер, в который Петр Кирилыч встретил Антютика в лесу, сидела Феклуша одна на плотине...

Спиридон Емельяныч рано залег, Маша, должно быть, с устатку, загнавши с луга корову, тоже заснула, захрапевши на перегонку с отцом... Феклинке сделалось от этого скучно...

Спать ей не хотелось, как бывает всегда перед дорогой, потому осторожно, чтобы не побудить отца и сестру, вышла сначала посидеть на крылечке, а потом что-то вдруг потянуло на реку, и она, не притворивши хорошенько дверь за собой, пошла за ворота...

Кружилась у Феклуши голова, и в глазах ходили туманы...

Должно быть, тоже устала день-денской с утра бить поклоны и читать за отцом большие молитвы: Спиридон Емельяныч сегодня ее причащал...

☆

Три года прошли, как Феклуша тут же из-за свадебного стола уехала с мужем в Москву, и прожила их ни разу и во сне никого не увидев: боялась Феклуша проклятья отца, которое он посулил ей на последнее слово при расставаньи...

Митрий Семеныч за все три года сильно стал в мастеровом своем деле в гору итти, держал немало чужого народа, сам только кроил да фасонил, одевался, как барин, по-городскому, и не обращал на Феклушу никакого вниманья... Зачастую Митрий Семеныч пропадал по целым ночам с городскими приятелями, Феклуша плакала сначала, тайком богу молилась, потом обтерпелась и скоро ко всему приобыкла.

— У Митрия Семеныча вон какие дела—с тем надо посидеть, с тем поговорить: на одном мозоле только хлеб в поле растет!..

Митрий Семеныч обувал и одевал ее срядно, зря не строжил, хотя по целым дням подчас не говорил с ней ни слова...

Выучилась за это время Феклуша тачать заготовку, кроила по любому фасону не хуже другого; вообще хорошо обрукалась и стала заботливой и терпеливой женой...

Теперь, спустя три года, по наказу отца приехала она на последний пост и молитву, и от этой последней молитвы, от едкого ладана, который любил Спиридон Емельяныч, как иные мужики любят только одну заливуху, от полыханья свеч

в их тайниковой молельне плывет у нее в ушах, откуда неведомо, звон...

Сделалось ей в этот вечер, как никогда еще не было, грустно... На сердце, как ком, и в глазах еще синей заколыхалась водяная прозрачная зелень и синь, когда она повернула от ворот на плотину...

Первый раз она спросила себя, для чего это отец наложил на нее такую тяготу и утому... От отца она ни слова никогда не слышала в объясненье, а спрашивать было не в домашних порядках Спиридона Емельяныча...

Тут-то и пришло ей в голову песенку спеть, которую слышал Петр Кирилыч с Боровой дороги, когда они шли с Антютиком сватать дубенскую девку...

☆

Сидит Феклуша у самого края плотины и на воду смотрит.

И впрямь, должно быть, хорошо в этой воде... Какой только молявки в ней нет, какие мягкие растут по берегу травы и как зелено в этой траве чешуится вода, когда со всей силы сине-зеленым лучом хватит по берегу месяц!..

Сидит Феклуша и не замечает уже, как вокруг нее все гуще и гуще плывет дубенский туман, расстилаясь под самые ноги, как дым из подовинья... Преображает он прибрежные кусты и деревья в диковинные дворцы и палаты, каких и в Москве не увидишь за высокой кремлевской

стеной, и саму убогую мельницу скрыл совсем с глаз, как рукой смахнул...

Не заметила она и того, когда вышел из дому Спиридон Емельяныч и по какому-то делу ходил на другой берег Дубны. Увидала Феклуша его, когда он уже домой возвращался, шел неторопливо по мосту и еще издали махал ей из речного тумана рукой...

Очнулась совсем Феклуша, когда на плечо ей легла широкая и большая ладонь, а за собой услышала такой ласковый голос отца, какого она еще никогда от него не слыхала...

— Ну вот, милая дочка, и прошли все три года, ровно три дня... Небось, хорошо теперь и на сердце привольно?..

— Мне, батюшка, всегда хорошо!..

— Доброе слово!..

— Какой ты, батюшка, ласковый!..

— Люблю тебя очень... Как же: завтра провожать тебя будем... Поутру Петр Еремеич тройку пригонит, поезжай, значит, с богом и уж теперь спи с мужем, как ни захочешь...

— Батюшка!..

— На доброе вам обоим здоровье!.. Только, Феколка, непременно сына роди, с девчонкой ко мне и на глаза не кажись...

— Что бог пошлет... как загадать!..

— Доброе слово!..

В это время туман еще гуще заволок берега, и по берегу так и залились, как на заказ, соловьи,

просыпав сразу на воду тысячу серёбряных и золотых колокольчиков...

— Важная эта птичка... птица-повада!.. Птица эта мужичью стезю стережет!.. Спать не дает ни молодым, ни старым...

— И то, тятенька, что-то не спится... должно быть, это перед дорогой...

— Перед дорогой... и перед счастьем, Феклуша!.. Какая ты стала, Феколка, подбористая да видная, как я погляжу!.. То-то, небось, Митрий Семеныч теперь ждет не дождется!..

Феклуша уронила голову на колени и боится на отца взглянуть: больно ей по сердцу ударили его последние слова...

— Нет, тятенька,—тихо говорит она,—Митрий Семеныч меня нисколечко не ждет!..

— То-есть, как же это такое: не ждет!.. Выдумаешь еще!..

— Да так и не ждет... Никакой выдумки моей нет... говорить только тебе побоялась!..

— Чего же бояться? Вот дура... а в городу еще пожила!..

— Боялась, что проклянешь... меня с Митрием Семенычем!.. Да все равно про него люди давно судачут: услышишь и сам!..

— А ты, что люди говорят,—слушай, только не больно... на то у людей и язык, чтобы мазать им чужие ворота...

— Нет, батюшка, на этот раз, кажется, правда!..

— Ну-ну!.. несь какие-нибудь девичьи придумы?..

— Ох, тятенька, не до придум мне: сама видела... как он на девке лежал... Мы мастерицу держали: ряба-ая!..

— Это нешто: человек ряб, годился бы в ряд!.. Только это он, девонька, так... ради баловства, может, какого!..

— А со мной спал все эти три года... спиной... ни разу и не повернулся...

— Так, дочка, и надо!.. Так и надо!.. Так лучше... Зато теперь ты вернешься в Москву, на тебя не наахаются люди: откуль, дескать, такая краля в Москве?..

— Ты, тятенька, шутишь, а мне инда до слез...

— Нет, не шучу: поглядись на себя хорошенько!..

— Не приучилась, батюшка... я мимо себя в зеркале прошла... Только вот теперь бы поскорее доехать...

— Чего теперь спешить?.. Доедешь!..

— Я бы уж сумела прилучить Митрия Семеныча, за мной вины нет никакой!.. Накрепко бы к себе привязала!..

— Только захвати, дочка, веревку потолще!..

— Ты, тятенька, надо мною смеешься или жалеешь: я не пойму!..

— Придумы!.. Полно, дочка, все хорошо в этом мире!.. Разве может быть в нем что-либо плохо?..

Смотрит Феклуша на отца во все глаза и не узнает его по речам, по всему; вроде как отец с виду все тот же, как и всегда, а говорит такое, что и слыхом раньше не было слышно... да ни

о чем и не говорил допрежь Спиридон Емельяныч с дочерьми никогда, окроме как по дому да по хозяйству, с виду был всегда суров и непреступен, хотя дочерей, знали они, сильно любил...

— Батюшка,—спрашивает Феклуша, улыбаясь отцу,—чтой-то ты седни сам на себя непохож?..

— А что?—улыбнулся и Спиридон Емельяныч...

— Да так: больно речист... и... какой-то чудной, я тебя еще никогда таким не видала!..

— Так, Феклинька, молодость вспомнил!.. Уж и не думаешь ли ты, что я вас с Машкой в темном лесу под елкой нашел?..

— Мамки мы обе не помним!..

— То-то и дело... а она сильна... Плоть в человеке всего на свете сильней!..

— Плоть?..

— Она самая... Сядь-ка, дочка, подвинься поближе ко мне!..

Пролетела низко ночная сова и задела было Феклушу крылом, но увидала... и, как камень, упала за куст... Феклуша вздрогнула, отцу пугливо заглянула в глаза и подсела поближе...

— Хочешь ты попригожеть?..

— Ой, батюшка, как же мне не хотеть... Ты ведь сам знаешь теперь про Митрия Семеныча.

— Это нешто!.. Так слушай: пост и молитва для души, как румяна лицу... Теперь знаешь еще что тебе надо?..

— Нет, батюшка, сама я ничего не знаю, я всегда слушала, что ты мне прикажешь!..

— Доброе слово!.. Вот что теперь, дочка: поди сейчас и окунись на том вон склону в лунную воду и плес обплыви... ты ведь у меня плавать горазда!..

— Ой, что ты, тятенька: боязно!..

— Ничего, не бойся... я постерегу на плотине, а если кто и набредет на тебя, так я так отшугну: своих не узнает!..

— Боюсь, тятя!.. Тятенька, страшно!..

А месяц так и бьет, так и сыпет зеленое золото в то место, куда указал Спиридон Емельяныч, и в том месте Дубна так и поёт, словно что-то хочет сказать своей говорливой струей, да на человечьем языке у нее ничего не выходит...

— В жизни человека все по двум дорожкам идет, потому и сам человек как бы на две половинки расколот!.. Одной половиной человек в небо глядит, а другой низко пригнулся к земле и шарит у нее на груди огневые цветы!..

— Ты, батюшка, мне попонятней... я что-то мало тебя в толк возьму, до того ты сегодня чудной!..

— Чудного тут нет ничего: после такого искушенья ты должна и сама все без слов понимать!..

— Говори мне, батюшка, еще говори!—прижавшись к отцу, шепчет Феклуша...

— Дух!.. Ты попамятуй, дочка: дух!..

— Ду-ух!..—повторяет привычно за отцом Феклуша, как молитву.

— Плоть!.. Ты попамятуй, дочка, плоть!..

— Плоть!.. Плоть!..

— Всему свое время!.. Слушай: все сотворено по двум ипостасям... По одному пути все падает вниз... по другому все подымается кверху!.. Кверху деревья растут и вниз падает камень!.. Потому есть луна и есть солнце, есть звери денные, и есть звери ночные... потому и сам человек есть не что, как двуипостасная тварь!..

— Мне, батюшка, дивно глядеть сейчас на тебя и радостно слушать, не пойму сама, почему!..

— Слушай, Феклуша моя: пришел и тебе второй и самый радостный срок!.. Пришел тебе час окунуться в лунную воду и познать свою плоть!.. Отныне плоть лелей и заботься о плоти и думай о ней каждочасно и не отступайся от нее до последнего издыхания... Иди, иди, Феклуша, омойся в лунной воде...

Феклуша встала с плотины и покорно пошла под уклон...

Там на тихом ветру у самой Дубны чуть полоскали в воде ветками прибережные ивы.

Они расступились пред девкой, как пред какой царицей, но Феклуша прошла, как молодая царица, и на них не бросила взгляда. В глазах у нее колыхалась такая бездонная синь, будто сама весенняя полночь со своими звездами и с месяцем посередине упала ей на глаза, и она ничего уж, кроме густо насыпанных звезд, кроме высокого месяца да под месяцем отливающей месячной синью воды,—ничего уж не видит!..

Теперь времена вот какие: старику надо весь день пробожиться, чтобы молодой хоть на одну минуту поверил... Так руками все и замашут, так и засуют кулаки, и не успеешь раскрыть как следует рта, как тебя уже столовером и дураком назовут...

Ну-к, что ж? Оно, может, это и верно—ведь мы старики!..

Только и то: верить ты можешь не верить, а кулакам у меня во рту не квартира... Можешь не слушать, а что соврать, коли доведется, так соврать подчас, ей-богу—сказать больше, чем правду!..

☆

Так вот: сидит Петр Кирилыч на пенушке возле дороги, и хорошо у него на душе!..

Какой выдался случай да счастье!..

Теперь-то он женится, нарядит подклет, в котором хоть сейчас и не очень казисто, потому что в подклете стоят по зимам братнины овцы и весь мелкий приплод, но для начала и то хорошо... Самому теперь Петру Кирилычу стало чудно, почемуй-то он до сих пор об этом обо всем хорошенько не подумал: ведь Петру Кирилычу без малого третий десяток доходит, бородка, как у заправского мужика, закурчавилась кольчиком...

Задумался Петр Кирилыч, закусивши кончик бородки в зубах, и потому немного вздрогнул от этой задумчивости, когда услышал у себя за спиной в самое ухо:

— Ну, Петр Кирилыч, дело, как говорят, на мази!..

Оглянулся Петр Кирилыч: опять тот же старик, только лицо все расплылось, как у месяца, когда он поутру садится в чащобу за чертухинский лес...

«Да на кого же это он только похож,—подумал опять Петр Кирилыч сам про себя,—в такой длинной поддевке?..»

Антютик еще ближе придвинулся к Петру Кирилычу и снова шепчет ему на ухо, словно боится кого испугать...

— Сейчас она будет купаться... так ты можешь всю ее разглядеть до тонкости... Я уж, Петр Кирилыч, сватать так сватать: фальши вашей смерть не люблю...

— Я тебе верю, Антютик, как родному отцу!— тихо говорит ему Петр Кирилыч.

— Да уж, не обману!.. Пойдем-ка, Петр Кирилыч: тут у самого берега стоят большие кусты... нам-то все будет видно, а нас... не увидит никто!..

— Ну, и хитер же ты, Антютик!..

— Полно, хитрей человека нет ничего на земле... потому и есть среди людей дураки... Ну, да нам, Петр Кирилыч, нечего растабарывать... Ну-ка, пойдем!..

Взял Антютик Петра Кирилыча за руку и по-

вел его по дороге, как ведет поп жениха к алтарю, спустились они под уклон, где поворот на мост через Дубну, и осторожно пробрались кустами...

В частой ольхе, словно в большой клетке, так и залились серебряным свистом, так и защелкали на хрустальных пальчиках соловьи, посходивши с ума от весенней теплыни...

Антютик раздвинул рукой частую сетку ивовых веток, и перед Петром Кирилычем раскрылась такая картина, от которой у него все завертелось в глазах. Петр Кирилыч чуть было не вскрикнул, но Антютик толкнул его в бок, и он только глубоко передохнул и схватился за сердце...

☆

Высоко плывет луна, как дорогая корона, и, как дорогие камни из этой короны, по всему-то небу рассыпались звезды... И Дубна подобрала их в своей зелено-синей воде и унизала ими сверху донизу речные коряги и пни, заплела в водяную траву-модарызник и положила на широкие ладони листьев от желтых бубенчиков, чтоб поглядеть на них, посчитать и полюбоваться...

Смотрит Петр Кирилыч: видно Дубну до самого дна, и по речному дну идет, как в Чертухине, широкая улица... Посыпана улица золотистым мелким песком, по сторонам, в берегах, под корнями кустов и прибережных деревьев, стоят избы по ряду, словно игрушки, и днем, верно, похожи эти избенки на коряги и пни, которые

каждой весною смывает с плотины вода и разносит по берегу плеса...

А сейчас у них видны сбоку крылечки, князьки наверху и застрешки, на которых вместо голубей сидят пескари, а пескарь... известно: самая мелкая рыба, в сто годов вырастает она всего на вершок...

В маленьких окнах горит зеленый, как месячный луч на воде, огонек, и по всему видать, что в этих избах живут, хотя на крылечках и нет никого, и только сбоку каждой избы лежит по большому сому, пудов так на пять каждый, а то и поболе, у каждого сома ус по аршину и голова с большую корчагу!..

Видно по всему, что они сторожат, и со стражи этой им ни на шаг, почему и резвится и играет на месяце, переворачиваясь к нему и на бок и кверху брюшком, разная мелкая рыба: плотва, как щепки, унесенные в половодье с новой постройки; окунье по чайному блюдцу; как частые гребни, ерши; серебристые подъязки и язи, и в ладонь мельника Спиридон Емельяныча ширины— караси!..

А под самой плотиной еще светлей, чем под месяцем сейчас на лугу!..

Там стоит уж заправдашний терем: у широких ворот, в которые въедут сразу две тройки, стоят на часах две большие зубастые щуки, важно поводят они плавниками и хвостами чуть шевелят, завивая их полукольцом и уставя друг в друга неподвижно свои водяные глаза, и на глаза у них

по широкому носу перекинуты за жабры слюдяные очки...

А в самом терему чистота, светлота и такое убранство!..

То ли уж это незримые для простого глаза, когда посмотришь так от пустого любопытства под речную плотину, что их не увидишь, висят прозрачные, унизанные бисером водяных шариков травы, то ли паутинные занавеси с рисунками на них невиданных птиц и зверей...—только сквозь эти занавеси за большими высокими окнами так и синеет и такая раскрывается слепительно-синяя даль, что человечьему глазу легко потеряться, будто там за ними уже не река, а шумит синее хвалынное море, с такими же городами и селами на дне, как и у нас, только, видно, живут в этих селах и городах не как мы, а совсем по-другому...

☆

Видит еще Петр Кирилыч, что в терему кто-то ходит взад и вперед, словно ждет кого и никак не дождется... Только ударил вдруг со всего маху по терему месячный луч, в терему все засияло, все загорелось, как в церкви на Пасхе в двенадцатый час, и посреди терема Петр Кирилыч хорошо разглядел величавую деву и такой красоты, какой Петр Кирилыч еще никогда не видал и никто теперь, братцы, уж не увидит...

Ни на лицо, ни на рост ее не поймешь...

Сказать, чтоб была она высока, так не скажешь, потому что и в самой Дубне не очень глу-

боко, сказать, чтоб была весела, так нельзя,—такая в ее синющих глазах тоска, печаль и тревога, каких ни в одних человечьих глазах не увидишь!

Зато тяжела у нее до самых золотых туфель коса за плечами и переливны ее синие очи, как крылья у птицы-дерябы... И по лазоревой ткани, закрывшей ей плечи и грудь, вышиты искусной рукой белые лилии и желтые бубенчики, и будто звенят они соловьиным звоном на тихом ходу, и белые лилии колышутся чуть лепестками, словно живые...

И такой покой на всем и тишина, даже речная волна в плотине—и та присмирела, застыла и дальше уже не бежит, а только чуть трепещет зеленой своей чешуей, расправляя у ног ее речные мягкие травы...

☆

Но вот она остановилась и тихо махнула рукой...

Со всех сторон дубенского плеса важно поплыли большие сомы на середину реки, и, кто куда, бросилась перед ними разная мелкая рыба... Хлопнули у подбережных избенок засовы, и на речную песчаную улицу гуртом повалили дубенские девки, распустили на ходу за плечами густые зеленые косы, расправили зеленые из чистого шелку расфуфырки на белых руках, взяли друг дружку за руки и повели хоровод...

— И дочего же эти девки бывают красивы!— прошептал Петр Кирилыч Антютику в ухо...

— Такие, Петр Кирилыч, люди бывают, только когда друг дружку видят во сне: на самом деле они куда хуже!.. А что?.. Хороша?..

— Ой же, и хороша!..

— Хороша-то хороша... Она мне доводится по-вашему: дочка...—шепчет тоже Антютик и улыбается на Петра Кирилыча.

— Дочка?..

— Зовут ее, Петр Кирилыч, Дубравна!..

— Она у них, видно, за главную?..

— Она, Петр Кирилыч, царица!.. Хотя цари это ведь только у вас, а у нас: и царь и псарь— почет одинаковый!..

— Ой же, и хороша!..

— Хороша Маша, да не наша... Эх, Петр Кирилыч, полно, друг мой сердешный: не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что не хорошо да... хорошо!.. Ты, Петр Кирилыч, не по делу глядишь... Ты вот куда погляди!.. А то родниться с тобой у меня нету охоты: ведь у вас... все по сунгузу!..

Антютик развел ветки пошире с другой стороны от Петра Кирилыча, и в ту сторону полился из облака месячный свет, золото-зеленой куделью повиснув в тумане...

СОМ

Феклуша села на прибережный песок, обхватила колени руками и уронила на них захмелевшую голову...

Страшно на воду взглянуть, страшно глянуть на месячное сиянье в воде. Чем шибче месяц на воду бьет, тем трудней разглядеть в ней что-либо простому человечьему глазу...

Но еще страшней ослушаться отца и приказа его не исполнить: бьет родительское проклятье в самое сердце!

Долго Феклуша просидела в том месте, куда указал ей Спиридон Емельяныч... Чуяла она, что во всем, что творится с ней сейчас, есть что-то такое, чего она никак не может понять... Только от этого непонятного чувства тянет поминутно оглянуться и... ахнуть! И противиться Феклуша в себе не чувствует силы...

Нагнулась она близко к воде и пристально заглянула в нее...

Четко видит себя Феклуша в зеленой воде, только никогда она себя такой не видала... В глазах словно травная зелень из-под плотины, когда под нее ударит рассвет, и на плече, как речная трава-модарызник на быстрой струе, колышется зеленая густая коса...

Перекрестилась Феклуша большим столоверским крестом, прочитала Живую Помощь два раза и встала на ноги, распрямившись вся под сарафаном, чтобы раздеться...

☆

Немудреную сряду раньше бабы и девки носили!..

Не было этих застежек разных везде, крючков

да завязок, до бабы было добраться, как новую дверь отворить: дернул за скобку, и все в избе видно, как на ладошке!..

Одежа была хоть и не очень фасонна, но зато уж проста—в ней и гулять хорошо и нарядно и работать удобно!.. Надевалась она с головы и свободно облегала ничем не стесненное тело... Сверху сарафан каких хочешь цветов, больше все голубые да синие, а под сарафаном из домотканного полотна станушка, и у станушки в расфуфыр рукава!..

В расфуфыр: только сказать!.. Теперь в этом всякое понятие потеряли: поди-ка, в расфуфырах ее разгляди!..

Их и носили, чтоб не казались тощими груди и руки, а если и не были очень тощи, так на грех бы не в час не наводили, потому, какие они там на самом-то деле—в расфуфырах не видно!..

Только молодые столоверки на причастных сарафанах во множестве по подолу и спереда до самого низу от груди, где идет парчевая кайма, пришивали медные, а кто побогаче, так и золотые пуговочки, наподобие крохотных бубенчиков с прозрачной такой и сквозною резьбой, но не для красы или прельщения, а для того, чтоб слышней была молодая молитва, когда такая краля, теша родительский глаз, в молельне впереди вдов и старух, повязанных низко в черные кашемировые шали, усердно отбивает поклоны...

А теперь, если взглянуть, когда в церкву иль в гости срядится баба, только тьфу!.. Кофты,

крючки, застежки да юбки, как листы на капусте, пока-а... до кочерыжки дойдешь!..

Полагаю, все такое пошло от городов: там люди—ручки в брючки, подчас ему целый день нечего делать—ну, и ходит—водит кисель.

☆

«Лось в реке еще рога не мочил, а я уж купаюсь!..»—подумала про себя Феклуша и улыбнулась.

Сбросила она с себя причастный голубой сарафан, обронила с круглых, овалистых, слегка пушистых, как новая бархатка, плеч расфуфырку и присела на колени возле воды.

Опять то же зеленое, но страсть какое пригожее лицо глядит из воды, только у этого лица нет ни улыбки ни ямок, строгое оно в воде, как богородичный лик, и какая-то непонятная Феклуше скорбь на этом лице и тревога...

Только грудь в воде будто полнее и крепче, как телочье вымя с пупырушками еще неотдоенных сосков, а живот круглей и упружей, как после медового месяца. Смотрит на себя Феклуша в зеленую воду, и у губ ее от невольной улыбки играют глубокие ямки...

Плывет эта улыбка в воде и кривится маленькой змейкой на месяц, с которого так и льются к Феклуше лучи, льются на середину реки, как в чашу, и на березовый мельничный бор на берегу, отчего он еще стройнее и выше, будто привстал, чтобы хорошенько видеть Феклушу...

«Вот диво: словно кто там дразнится!..»—подумала Феклуша и опять улыбнулась...

Стоит Феклуша и смотрится в реку, поправляет косу на плечах и гладит рукой по животу и по коленям...

☆

— Видишь?—спрашивает Антютик Петра Кирилыча на ухо, еще шире раздвигая ветки в ту сторону, в которой собиралась Феклуша купаться.

— Вижу, Антютик!.. Уж как только явственно вижу!..

— Не девка, а... ситник!... Вот бы разок тебе укусить!..

— Подожди, маленько, Антютик... не пугай!.. Ишь, ты!..

— Ишь, она ноги-то в коленках зажала, словно уронить что в воду боится... Оно и понятно: это каждой девке, дурной и хорошей, дороже всего, потому без этого будет только полдевки!..

— Одно звание... если заранее!..

— Э-э!.. да, я вижу, тебе объяснять много нечего: добрую половину ты и сам понимаешь... Понимаешь теперь, что такое сунгуз?..

— Лешее слово!..

— Пусть будет по-твоему!.. А коса-то, Петр Кирилыч, какая!.. Ну и ну!.. Хороша!.. Хороша!..

— Хороша!..—согласился тихо Петр Кирилыч...

— Э... тоже... да-а, хороша!—сказал еще раз Антютик и причмокнул губой...

— А ты с ней обо мне не говорил?..—испуганным шопотком говорит Петр Кирилыч.

— Ну, а как же... она только ждет, не дождется... три года ждала...

— Три года?.. Меня?..

— Да видишь ли: не то, что тебя, а... так... вообще... целых три года... сколько, значит, у девки терпенья!..

— Целых три года?..

— Недаром такая до пяток коса!..

— Я что-то мало тебя понимаю, Антютик!..

— После поймешь!..

В это время Феклуша отошла немного от края реки, протянула далеко руки вперед и, сложивши ладони, разбежалась и с разбега ухнула в воду...

— У-у-у-х!..—вскрикнула она на воде и по-мужичьи большими саженями, каждый раз порознь, забила руками по лунной воде, и от нее по всему плесу, еще пуще золотясь и отливаясь на месяце, разошлись большие круги...

Загляделся Петр Кирилыч, и на дне Дубны загляделись дубенские русые девки, перестали вести по песчаному дну хоровод, сбились все в кучу и тоже улыбаются, глядя на быстрые и сильные взмахи Феклушиных рук, и от каждой их улыбки подымаются кверху большие цветы белых лилий и крапинки желтых бубенчиков и от каждого вздоха их, кружась в воде, идут со дна пузыри...

Стоят дубенские девки, сбившись в большую кучу, как овцы на солнце, и близко к ним вышла из плотинных ворот Прекрасная Дева—Дубравна,

смотрит вверх на плавающую возле плотины Феклушу и, показывая на нее маленьким пальчиком, тихо грозит...

И все: травы и рыбы склонились спокойно и легли на песчаное дно...

Только сом, должно быть, самый большой со всего плеса, подплыл осторожно под самый Феклушин живот и длинным усом провел по нему сначала вдоль, а потом поперек, словно открывал этим знаком утробу Феклуши для любви и рожденья...

Вскрикнула Феклуша от этой щекотки и замахала по воде еще чаще руками, и еще тороплившей поплыли на середину Дубны золотые круги...

— У-у-у-х!..—неслось по реке, и вслед за этим уханьем заухал и сыч-ухач, сидя на старом суку у прибрежной сосны, щурясь на месяц с своею сычихой, и соловьи еще громче запели, и вдали прокричал чертухинский лось, зовя к себе на поляну, где месяц, лосиху...

Феклуша сделала большой круг по всему дубенскому плесу и следом за ней, как приказный дьяк, завивая кольчиком ус, провожал ее сом, и когда Феклуша была снова у самого берега, на котором голубел ее сарафан и белела станушка, он быстро подплыл к ней и ударил ее по двум розовым чашам мягким, легко скользнувшим хвостом...

Феклуша вскрикнула опять на всю реку. У-у-у-х! прокатилось опять по реке—и, взмахнувши последний раз со всей силы руками, встала на

песчаное дно и, полусогнувшись, держась за колени рукой и рассыпая серебристые брызги по сторонам, побежала на берег...

«Чтой-то я в самом деле, дура, боялась!.. Как хорошо-то... вот хорошо...»

Стряхнула Феклуша воду с себя, растянулась на голубом сарафане и, подложивши под голову руки, посмотрела на месяц и тихо закрыла глаза...

☆

Смотрит Антютик на Петра Кирилыча и хитро говорит ему:

— Что ты уперся, Петр Кирилыч? Сломаешь глаза!..

— Гляжу, Антютик, кто это такое: вроде как что-то знакомо... где-то вроде как видел... А где?..

— Ну, знакомитый какой... Где же тебе увидеть раньше дубенскую девку!.. Она ведь на людской зрячий глаз... только кукушка!..

— Пожалуй!..

— Ну, иди, Петр Кирилыч, делай девке сунгуз!..

— Что ты, Антютик: она убежит!..

— Не убежит: она спит... без задних ног!..

— Вроде как тогда... неловко!..

— То-есть как же это такое, ты говоришь?..

— Да так!..

— Вот те раз!..

— Нет уж, Антютик: что нельзя, то нельзя!.. Надо все по порядку, а то никакого проку не будет... только люди будут смеяться,— скажут: Петр-то Кирилыч душеньку завел!..

— Вот еще!..

— Надо все по закону!..

— Ну, коли закон, так закон!.. Если уж так... тогда надо итти, Петр Кирилыч...

— Погоди, Антютик, немного!..

— Сыт глазами не будешь!..

Антютик схватил за вихры растрепанную небольшую елочку: словно прибежала она к нему сюда и теперь стоит и дожидается, чуть переводя дыхание и трепеща каждой иглою...

Сорвал Антютик с бокового сучка молодую клейкую шишку... развел ветки пошире, и, замахнувшись за спину, быстро бросил еловую шишку в Феклушу...

То ли прилетел куличок-песочник на песчаную отмель реки и, не заметив спящей девки на этом песке и сарафан ее голубой принявши, должно быть, за кусочек упавшего сине-голубого весеннего неба и белую станушку за последний снежок, затянул возле Феклуши в тонкую дудочку и запрыгал по берегу, кланяясь на месяц черной вертлявой головкой... То ли сама Феклуша тихо застонала во сне и потянулась от весенней теплыни вся кверху—не поймешь: со всех сторон вдруг повалил густой молочный туман, предвещающий близкое утро...

☆

— Ну, Петр Кирилыч, будет еще время — насмотришься!.. Еще надоедите друг дружке — глаза не взглянут... Надо в дорогу: скоро будет светать!..

Обернулся назад Петр Кирилыч и обомлел: не может Петр Кирилыч пошевелиться...

— Садись, садись, Петр Кирилыч! Хорош у Антютика конь?..

Где стояла вихрастая елочка, теперь рядом с Антютиком пошевеливает мирно хвостом чертухинский лось... Может, его и видел раньше Петр Кирилыч, когда ходил по ягоды или грибы, только тогда хорошо его не разглядишь,—мелькнут на минуту в ветках развилистые рога и с веток повалятся быстрым дождем сбитые рогами мелкие сучья и листья, за которые он зацепит, унося свои воздушные ноги...

А сейчас он стоит совсем рядом от Петра Кирилыча—рукой можно до него дотянуться и потрогать—и, видимо, ничуть Петра Кирилыча он не боится; склонил лось точеные колена и положил рогастую голову Антютику на плечо и лижет ему губу своим языком и на обоих пышет жарким звериным дыханием, в котором пахнет хорошо перепрелой травой, мхом и молодым побегом ели...

Смотрит лось на Антютика, щурится веками, и по глазам ему бьет месяц сильным лучом. Антютик гладит его по хребту и считает развилки...

— У нас в лесу... без счета ничего не бывает... Видишь, сколько развилок у него на рогах: столько за всю жизнь принесла ему лосиха лосят...

— Прошлую зиму за ним Петька-Цыган ходил две недели!..

— Зимой ему плохо... зима—белое зеркало,

в которое смотрится звериная смерть... Ну-ка, Петр Кирилыч, садись!..

— А он меня... не двинет пятами?..

— Разуму у тебя, Петр Кирилыч, все же немного: разве тронет зверь, если ты его не заденешь?.. Садись!..

Петр Кирилыч вскочил на могучий хребет и крепко схватился за крутые рога... На спине у лося широко... как на полати...

— Держись!..—крикнул Антютик...

И лось одним прыжком вынес их на дорогу...

☆

Зашатались леса в глазах у Петра Кирилыча, на небе над самой головой большое облако закружилось сине-серебряным клубом, запрыгали, как на ниточках, звезды, и вся земля ходит, словно это дышит могучая грудь... Показалось Петру Кирилычу, что прокатили они так неведомо сколько места, а и всего только Антютик стеганул взад-назад по Боровой дороге, видно, хотел он Петру Кирилычу показать лосевый ход: никогда такой быстрой езды не видал Петр Кирилыч...

Зажмурил Петр Кирилыч глаза, чтоб в них не кружилось, и только тогда их и открыл, когда Антютик тпрукнул, и лось на всем скаку остановился.

Видит Петр Кирилыч, что переливается под его кожей каждая жилка и дрожит, как струна, под рукой...

— Видишь?—спрашивает Антютик Петра Кирилыча...

— Чтой-то?—не совсем поймет Петр Кирилыч...

— Да что тебе глаза-то елка, что ли, выхлестнула?..

— Мельница?.. Опять мельница?.. Так как же мы столько места отстегали?

Смотрит Петр Кирилыч: мост, как горб, только будто еще круче, чем всегда, та же Дубна в берегах, только на том берегу такой туман—свету не видно, над туманом плывет соломенная крыша, и над крышей круто изогнул шею жестяной конек, только теперь он тоже скачет, потому что ветер так и раздувает у него сзади веером хвост и целыми прядями откидывает в стороны гриву...

— Мельница?—удивился опять Петр Кирилыч...

— Она самая... А самого-то знаешь?..

— За шапку браться приходилось...

— Значит, можно сказать, ни с одной точки не знаешь его дочки?..

— Да... шут его разберет, что он за человек такой!..

— Да человек он не вредный: мельник!..

— Ну-к, что ж?..

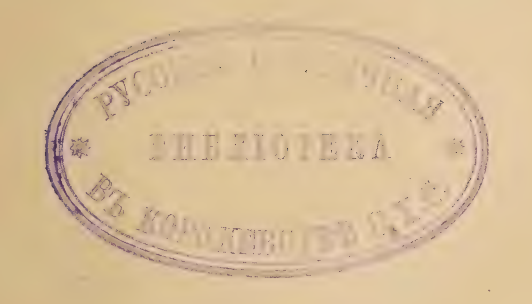
— Ничего не скажу... Только если тебе и вправду про него ничего не доводилось слышать... так я тебе...

☆

Но все же мы лучше сами расскажем, потому, что ни говори и что ни думай, а как-никак: все леший!..

Г Л А В А   Т Р Е Т Ь Я

НЕПОМЕРНАЯ ПЛОТЬ



ДВА БРАТА

И сам-то я знаю, что стар.

Знаю и то хорошо, что доброй половине никто не поверит, зло посмеется и отвернется презрительно, как от небывальщины и старины, как отворачивается девушка от стариковских глаз, в которых вспыхнул при встрече запоздалый затаенный огонь...

Ин все равно не повадно: темно у меня в избе, и в глазах у меня потемнело!..

Вижу я только, как, прислонившись у печки, ухваты и клюшки, широко разинули рты, как у двери, у самого входа, где висит рукомойник, большая лохань выставила в темь оба уха, как молочная шайка в углу, над которой нагнулся неразумный телок, выпятила настороженное ухо.

Не будете вы меня слушать, так я нагуторюсь и с ними!..

☆

В то время плохо совсем приходилось мужикам, отбившимся от православного стада...

Все веры, кроме единой,—вера—венец осударства,—были неправые, и всякий, без особой раз-

лички, кто не по леригии шел, прозывался столовером, хотя и был христианского роду и за столом трапезовал, как и не все же... только со своею посудой... Да экая важность!..

Это уж больше так—столоверы!—для-ради насмешки перекобылили мирские попы...

Дело не в прозвании: сами столоверы тогда были другие!..

Теперь-то у них все сошлось, можно сказать, к пустякам: что правильнее двуперстие али щепоть, и как угоднее богу возглашать: веков али веком?.. Правду сказать: пустая это и зрячая штука. Что же бог те выходит: дурак!..

Из-за одного из-за этого нечего зря лезть на рожон... Вера в человеке гораздо глубже сидит!.. Как перекрестишься, и как возгласишь—не все ли это равно... Вон теперь как пошло: совсем лба не крестят... И тоже, пожалуй, что и это не в счет, потому: в делах веры важит больше не то, что в рот, а... что изо рта...

Сказано же: аще бога любит, а брата... норовит за воротки... Что тому бывает?.. То-то!..

У стариков во многом, если хорошо и умно рассудить, была куда голова больше на месте, чем теперь у какого-нибудь бородача, который скулит об изгнании веры. Ему бы, вишь, только с тарелочкой по церкви ходить, да собирать в нее божьи слезки—мужичьи гроши!..

Полно-ка, вспомни как инакую веру гнали, было время, сами попы: поличные да десятские, словно разбойника, посмотришь, поймали, с душегубами

настоящими вместе в Сибирь на поселение ссылали, кто им в раскосок шел да в разрез про бога говорил. А все отчего?.. Были злы и глупы!..

Вера в человеке—весь мир!.. !

Убить ее никогда ничем не убьешь!.. Разве вот сама она сгаснет, как гаснет лампада, в которую набьются с ветра глупые мухи, летя из темноты на лампадный огонь... как сгаснет, может, и... мир!..

☆

Много с самой ранней поры передумал Спиридон Емельяныч с братом Андреем о вере...

Самое главное: вера без дел?.. Вот вопрос!..

Были молоды оба и по силе во всех Гусенках им не было равных... Куда бы, кажется, силищу девать?.. Спиридон Емельяныч однажды осерчал за что-то на лошадь на пашне и у всех на глазах так долбанул ее по хребту кулаком, что она присела, бедная, и в этот день уж совсем не пахала...

Были оба жадны до работы, трещало все у них под рукой и ломилось, землю пахали так, что ахали мужики: борозда, как канава, прокос пройдут,—две тройки проедут, а все не усиделось дома...

Православный чин не по духу пришелся...

Неправды много!..

Думали, думали оба они, как тут им быть, и решили в одночасье в монахи итти, бежать на гору Афон!..

В одно время так и сделали: не простившись и не сказавши старикам ничего, потому что только

зря бы завыли, бросили они им на старые руки большое хозяйство и сами куда неизвестно ушли... Видел только их в то утро пастух поутру, когда еще из ночного лошадей не залучал, как они пробирались, как воры, задами, да и принял их за воров... Думал, что цыгане с обротью по лошадей, почему и не окликнул, а только притаился: куда-де пойдут... Потом в Гусенках говорил:

— Братья ушли на зарю!..

Долго Емельянычи болтались по белому свету, где только ни побывали, в монастырях разных одного звону сколько переслушали, а все что-то сзади пихало вперед и вперед...

Пришли так братья на гору Афон, гора высокая, выше ее на свете и другой-то, пожалуй, нет, в облако вершиной своей уходит, и с нее, с вершины самой главной, видно, что на небе за облаками делается...

Только нечего зря говорить: престола они там не увидели, как болтают иные!..

На Афоне братья сначала служками поступили, а потом и постриглись. Стали они монашить, друг от дружки в разных кельях, поодаль.

Так и промонашили бы они, может, всю жизнь, потому что в монастыре им поначалу очень понравилось—больно гора, главное, высока, на ней и человеку как-то легче дышать и думать можно правдивей на такой горе о боге и вере, да и строгота была в монастыре, знашь, какая: в та поры не было еще отврата и пьянства среди мо-

нахов,—монаси были что надо, и брюхо у них не росло, как бабье беремя...

Да, видно, было им не суждено!..

☆

В первый же день после пострига, когда Спиридон Емельяныч пришел от вечерни в свою келью, случилась с ним история, про которую он ни слова долгое время никому не говорил...

Когда Спиридон Емельяныч зажег лампадку пред образом Всех Скорбящих и вздумал пред всенощной немного прилечь, он на постели увидал толстую рыжую девку... Руки у нее были раскинуты в стороны, словно налитые, крепкие, как репяные, и стыд еле прикрыт монашьей скуфьей... Нагая! Лежит девка на голых досках его монашьего убогого ложа и так-то хитро подмигивает Спиридону: дескать, эй ты там, монашек божий... Хошь бородой покрой, хошь рогожей!

— Тьфу!..—тут же сплюнул Спиридон Емельяныч.

А девка глядит в искосок: по всему телу рассыпаны веснушки: ради соблазна плотской чорт всегда эти веснушки носит за пазухой, только если молитву во-время сотворить, так веснушки будут уже не веснушки, а так, сор на полу... Всегда они у этого чорта наготове в полной горсти...

Спиридон Емельяныч хорошо это знал, сплюнул опять и перекрестился.

— Кто ты такая будешь, рыжая погань?—спрашивает он, мало, правду сказать, чего струсив...

Девка напружила груди, уперлись они ей в подбородок, и из сосков полилось молоко, на щеках девки загорелся румянец, как пламя, срываясь со щек языками, как костер на ветру, и губы вдруг налились малиновым соком, словно их раздавили, и по всему телу так и запрыгали быстрой дрожью под тонкой кожей едва заметные жилки...

«Вот так дойла!»—удивляется про себя Спиридон Емельяныч. Девок он во всей их натуре еще не видал,—когда, бывало, купаются деревенские на пруду али в реке, так всегда в сторону. Пытают, бывало, охальничать: дон-дон-Спиридон. Спиридон пройдет и... хоть бы ха!..

— Кто ты?—шопотом спрашивает опять Спиридон Емельяныч.

— Плоть твоя, Спиридон Емельяныч... твоя непомерная плоть!..

— Аминь, рассыпься!..

Да не помогает...

Девка как ни в чем не бывало: лежит и лежит, и из грудей у ней течет молоко, как из коровьего вымя с утелу...

Нечего делать: лег Спиридон Емельяныч на голом полу, от той же силы, должно быть, тут же заснул, и всю ночь прогрезил, что рыжая девка катается на нем по келье верхом и что величиной она сама с Афонскую гору и что грудь у нее, как обрыв у горы, который выходит к са-

мому морю и висит над морем, как только—дивиться надо!—не оборвется!.. А из грудей за ночь налилось молока по самый приступок, и Спиридон плавает в нем и подняться на ноги не может... Девка сидит на нем верхом и, слышно, она, как монастырский колокол, над головой выбивает в ухо своим проклятым боталом:

«Дон-дон-дон-Спиридон!..»

Поутру проснулся Спиридон Емельяныч, глядит—и всенощную проспал, и к ранней теперь опоздаешь... Посмотрел Спиридон Емельяныч на голые доски: вроде как никого!..

Только рясу ему словно пробило дождем!..

Так и пошло изо дня в день... Спиридон ни гу-гу никому, а сам сон и аппетит потерял, сохнуть стал и так спал с лица, что больше смахивал на худого медведя, чем на монаха...

☆

Так и промаялся бы Спиридон Емельяныч и высох в щепу, если б все не разрешилось помимо его...

Покаялся как-то ему Андрей Емельяныч, что видит он в главном соборе часто какого-то большого монаха, с клобуком на голове чуть ли не в аршин величиной, потом его никогда не встречал, ни за трапезой, ни на какой монастырской работе... Этот-то самый монах будто ходит по церкви, заложивши руки за спину, как староста, и только и делает, что тушит и зажигает лампады и свечки перед образами, и ни разу не заметил

Андрей Емельяныч, чтобы он при этом хоть бы как-нибудь лоб перекрестил...

— Ты бы сегодня встал рядом со мною: я тебе его покажу!..

— Наверно, это брат-келарь! У него такое лицо, словно онучей закрыто... никогда хорошо не разглядишь и редко узнаешь...

— Да нет, уж не келарь!.. Я домекался!..

На поверке так и оказалось: вовсе не келарь!..

Как ни толкал Андрей Емельяныч Спиридона в бока, показывая чуть рукой, ничего Спиридон не увидел... Верно, что лампады которые гаснут, а какие горят, а чтобы кто-нибудь невидимо их зажигал, так этого Спиридон Емельяныч, нечего зря говорить, не увидел...

Подивились только братья такому навожденью, выйдя из церкви...

Тут-то Спиридон и рассказал брату, что и у него не все слава богу.

— Что бы это такое значило? Вот напасть какая!—сказал Андрей Емельяныч, выслушав брата с дрожью по всему телу и расставаясь у самой калитки...

— Надо крепкий пост наложить!..

— Верно, что надо... Может, перст!.. Давай-ка завтра за дело!..

— Откладывать неча: у чорта каждая минутка на-чеку!..

Стали они оба себя бичевать втайне от монашеской братии, чтобы кто-нибудь не сглазил да не рассказал. В Афонском лесу нашли такой уго-

лок, куда ходили грешить богомолки. Чего-чего только с собой ни делали: и батогами друг дружку били до крови, и крапивой жгли по битому месту, и древесную кору вместо хлеба жрали, молились так, что у обоих ребра стали глядеть на улицу, а ничего не помогает—у Спиридон Емельяныча голая девка попрежнему на досках лежит, и коса у нее растет с каждым днем все гуще и дольше, и становится все рыжей да отливистей, а перед Андреем во время святой службы некий монах, для всех остальных невидимый, тушит и зажигает безо всякой надобности перед образами лампады...

☆

Долго терпели братья...

Потом открылись все же игумену на духу, но игумен наложил на них такую эпитимию, которая показалась им пустяком.

Скоро братья решили из монастыря убежать, не видя уже ни в чем и ни в чем не находя больше спасенья...

СОБОРНЫЙ ЧОРТ

Разные бывают черти на свете...

...А про такого вот чорта, небось, ни один поп не слыхал!..

Потому и не слыхал, что у себя под носом не видит!..

А есть и такой, и самый-то страшный изо всей их чертовской братии, потому что самый он...

хитрый... Мудрость и простота—это от бога, а чорт... глуп и хитер!..

Рассказывал про такого соборного чорта брат Спиридона Андрей Емельяныч, когда они воротились с Афона домой и стали первое время жить, как и не все же...

Этот самый соборный чорт и был главной причиной, по которой братья дали с Афона тайно от монашеской братии тягу, оставивши после себя надолго недоуменную и нехорошую славу... Случилось это все так.

☆

Не знаю, как теперь, а в то время, про которое у нас идет речь, стояла на самой макушке святой горы небольшая церковка, построенная в дальние поры безвестным купцом памяти какого-то тож безыменного рода и неведомой земли странника и богомольца Варсонофия...

По имени если судить, так мужиком этот странник, видимо, не был, хотя после него и остался домотканный посконный армяк.

У нас, мужиков, таких имен не дают, по причине их трудного на язык произношения, а также еще и из-за того, что с таким именем еще в ребятишках на смерть задразнют...

Так вот дело-то в том, что настоящего имени этого странника никто хорошенько не знал, почему при погребении уже монахи по монашеству своему нарекли его: Варсонофий!..

Этот самый странник Варсонофий и принес в

свое время на Афон неугасимый в дороге огонь на копеечной свечке, которую зажег он в светлую утреню от лампады над гробом осподним в святой земле Палестине... Как уже сподобило его донести такую даль столь малый огонь, никто хорошо и наверную не знал,—тогда легче было человеку поверить, потому что куда было меньше жулья,—только монахи так объясняли всем богомольцам и странникам: донес он-де, странник божий Варсонофий, святой огонь, спрятав его в рукав армяка, а шел-де все время по берегу моря в обход, по камушкам по-за-одаль волны, которая всю дорогу бросалась на него, аки тигр рыкающий, потому что с моря, как на беду, все время, как шел Варсонофий, дул бешеный ветер в обе щеки, и от ветра того много кораблей и лодок в море потопло... Святой же огонь остался в рукаве армяка нетушимым!..

Некий купец, пожелавший остаться безвестным, был самовидцем и свидетелем прихода этого странника на Афон и всей этой истории, и во увековечение памяти его выстроил храм. Странник сей в тот же день, как пришел на гору Афон, прожил только до ранней службы: с блаженной улыбкой во все его широкое и скуластое лицо тихо преставился он во время обедни, не обронивши и после смерти горящей свечки из рук...

Смерть, объяснили монахи, поставила его пред алтарным образом в главном соборе, вынула из него с ижехерувимною песнью убогую страничью душу, а свечки с палестинским огнем в похоло-

девших руках не загасила... потому огонь тот от последнего вздоха за мир спасителя мира!..

Остался после странника посконный армяк, и в этом армяке и впрямь был один рукав немного прожжен. Висел он долгое время в надмогильном храме как мужичья хоругвь и святыня... Бабы прикладывались к армяку, и под ним висела железная кружка с замочком, в которую капали мужичьи полушки, как капли с крыши после большого дождя...

☆

Правда, если все это и было, так было очень давно...

Сколько лет тому будет, поди, и сами монахи счет потеряли. Теперь если пойдешь на гору Афон к нему приложиться, так от него уж, да, может, и от самого странника Варсонофия, никакой памяти и следка не осталось...

Армяк—мужичья одежа: не риза!..

Только с тех незапамятных пор на Афоне так и установилось, как безуставное правило, сторожить неугасимый огонь в лампаде пред образом Вознесения в главном соборе, кою зажег в последний раз перед ранней службой и перед своею смертью некий странник, нареченный при погребении Варсонофием...

Каждую ночь между всенощной и ранней обедней оставался при лампаде монах на череду...

Потом с течением времени, малоразумные игумены стали налагать эпитимию к лампаде за раз-

ную провинность, монахи шли на эту сторожу не больно охотно,—как раз время, когда хоть немного всхрапнуть от молитвы и от работы. В те времена монахи сложа руки не сидели, за день так упетаются с богом да киркой, что ног не слышат... Тут же опять надо стоять на ногах, читать жития и следить за огнем, подливать в лампаду деревянное масло с елеем и держать в руках фитиль с поплавком, чтобы не упустить огонь, когда фитиль догорит и будет мигать и мелькать, как человек перед смертью мигает глазами...

С той поры соборные двери никогда не знали замка... Во всякий час дня и ночи можно было войти в него и помолиться...

☆

В тот самый вечер как итти Андрей Емельянычу в очередь перед лампаду, позвал его брат Спиридон к себе в келью: хотел Спиридон испытать, увидит ли брат иль не увидит...

После вечерни вошли они в Спиридонову келью, и оба долго не могли прямо взглянуть на голые доски.

— Видишь?—первый спросил Спиридон...

Попрежнему у него в глазах девка лежала на досках, только лицом к стене и будто сладко, как после любовной утомы, спала...

Но Андрей Емельяныч молчал и только головой качал в ответ, потому что и в самом деле ничего не увидел. Он даже потрогал крайнюю доску—и

ничего, только вроде как немного все они скрипнули разом, кто-то тихонько, словно спросонок, зевнул и на другой бок повернулся.

— Неужели ты так ничего и не видишь?— переспросил Спиридон Емельяныч...—Спина у девки широкая и могучая, грудь как телега, щеки, как спелые дыни, одним словом, все так, как никогда на яву не бывает.

— Ничего, Спиридон: ровным счетом!

— Вот ведь, скажи на милость!..

— Авось как-нибудь осилим: ты ведь тоже ничего в соборе не видел?..

— Так-то оно так, а будто все же не так!— ответил недоуменно Спиридон Емельяныч.

— Полно, брат: надо богу молиться!..

Помолились они и сели в другой угол, как ни в чем, вечерять, спокойно повечеряли, потом пошли вместе ко всенощной, а после всенощной Андрей Емельяныч, не заходя к себе в келью, остался в соборе стеречь неугасимый огонь.

☆

Так оно и оказалось, как сказал Спиридон Емельяныч: все же не так!..

Принял Андрей Емельяныч игуменское благословенье и проводил с миром всю монашескую братию и богомольцев, которых, как на грех, было на этот раз очень немного, а то все кто-нибудь да остался бы, поставил подставку к лампаде и на подставку положил книгу с золотыми застежками—жития.

Спервоначалу все было, как и всегда, во всем соборе стояла тишина могильная, только один неугасимый и горел в лампаде, у которой Андрей Емельяныч торопливо развернул книгу на середине: житие мученика и страстотерпца... Впрочем, Андрей Емельяныч тут же оторвался от книги, обернулся назад и в первый раз в жизни, сам не зная отчего... немного струхнул. По всем углам и закоулам стояли черные тени, будто сами монахи давно уж из собора все вышли, а тени от их траурных риз, скуфей и клобуков остались на стенах и на полу и теперь живут своей незримой и потаенной жизнью, справляя свой полуночный чин...

Будто служат они свою теневую службу перед образами, и образа в темноте кажутся столь темными, как будто не в храме они, а в курной мужицкой избе провисели не одну сотню годов, дожидаясь пожара... Даже позолота в киотах и серебро на окладах и дорогие камни на венчике богородичного лика, и те словно гарью покрылись, и блёска на них нигде не видать!..

«Страшно в церкви в двенадцатый час!.. Недаром в этот час по всей земле кричат петухи...»

Подумал так Андрей Емельяныч над книгой и не заметил того, что она раскрыта на одной и той же странице, и он ее не читает, а только смотрит на одно и то же место: мученика и страстотерпца... И буквы в этом месте шевелятся у него в глазах и складываются в какие-то тайные знаки, Андрей Емельянычу непонятные:

титла похожи на большие крючки, на которые страшливые бабы в деревне от воров и чертей на ночь в избу дверь замыкают, а буковки все разбежались кто куда, как распугали их по странице, и они на буквы мало похожи, а похожи больше на каких-то жучков и букашек со слюдяными крылышками, так и трепещущими на спинках у них в призрачном свету от лампады, их и не разглядишь хорошо, а запятые и точки в глазах, как мушкара перед теплой погодой у нас на болоте!..

Так незаметно для себя самого Андрей Емельяныч неизвестно сколько времени простоял над житиями, продумав, видно, совсем о другом. И то ли заснул потом от утомленья над книгой, то ли еще от чего, потому что все же чувствовал Андрей Емельяныч, как льется ему в голову какая-то муть, и из углов темнота помавает на него широкими рукавами и кланяется черными сгустками скуфей и клобуков,—только Андрей Емельяныч хорошо в один час различил перед собой, что житии на подставке сами закрылись, и на книге с боков звонко щелкнули в гробовой тишине золотые застежки.

Вздрогнул Андрей Емельяныч и наскоро перекрестился.

В неугасимой чуть мелькал огонек на поплавке, словно собирался с него улететь, и мигал, как мигает глаз у человека перед скорой смертью, и в этом торопливом и смертном мерцаньи лампады Андрей Емельяныч хорошо различил перед

собой высокую фигуру монаха в высокой скуфье, только теперь из скуфьи еще выпирали кверху кривые рога, загнутые немного в бок, как у бодливого барана, тут же за подставкой для книги переливалась черными волнами широкая ряса, лица под скуфьей он не разглядел, может, потому, что очень уж сразу испугался, когда монаха увидел, а может, и потому, что вообще такие черти есть... безликие... У таких чертей все наоборот: подмышкой нос, глаза на затылке, а уши в том месте, на котором сидят.

— Кто ты?—шопотком спросил Андрей Емельяныч.

— Соборный чорт, ваша святость!

— Аминь!..—шепчет про себя Андрей Емельяныч.

— Не трудись-ка аминить, Андрей Емельяныч. Ты умный мужик!.. Пойми, что все равно не поможет!.. Мне же тебе надо сказать немного по делу... давно собирался, да... некогда было!..

— Аминь!..

— Задумали вы с братом, можно сказать, совсем дело вам мало чем подходящее...

— ...Рассыпь-ся!

— Понимаешь?..

— Осподи, владыка живота...

— На манер, значит, странника Варсонофия... То-есть, какого там Варсонофия?.. В мире-то он был совсем не Варсонофий, а попросту Иван, по прозвищу Недотяпа... хотя мужик был не хуже других...

— ... владыко живота моего...

— ... только, видишь, была у него в голове такая блажь и несткладиха, а ноги обуяла расторопность,—за десять верст за киселем бегал... Пошел значит Недотяпа по всему белому свету нивесть зачем шлемать, да так бы и прошлемал, если бы к нам сюда не попал... тут-то я ему... и дух вон: потому, жалко стало мужика!.. Зазря!.. Чего ему?.. Если спросить, так и сам он не думал дознаться... потому: Недотяпа...

— ... ты еси упование мое... часть моя еси на земли живых...—путает Андрей Емельяныч со страху псалмы...

— ... так вот, Андрей Емельяныч, ваша святость, признаться, и тебя-то с братом мне стало жалко!.. Недотяпа так тот и есть недотяпа, а вы не мужики, а... любота!..

— Аминь!.. Аминь!.. Аминь!..—еле передохнет Андрей Емельяныч.

— Так вот тебе говорю: посмотри, к чему всю речь веду... Разуй глаза, сними портянки!.. Стен не хватает, сколько святых!.. А? И большие и маленькие, каких только нет... на иное имя по два и по три... Миколы... Иваны... а покажи ты мне хоть одного мужика среди них, и я тебе сейчас в ножки даже поклонюсь и попрошу благословения, хотя баб, случается, благословляю и я... Видишь, все: князья да попы, на всех кольчуги, ризы горят. Где же мужичий армяк?.. Что ты мне скажешь на это?..

Андрей Емельяныч удивленно стал оглядывать-

ся кругом, и куда он ни взглянет, там на минуту вспыхнет перед образом огонек, повиснет в темноте на минуту, озаривши лик и всю фигуру какого-нибудь святого, и тут же погаснет и упадет в темноту...

— Что ты мне скажешь на это?.. Да ничего ровным счетом, потому сказать тут нечего: мужики все в ад пойдут!.. Понял ты это? Потому разве мужику косолапому по огненной нитке через геенну в лаптях пройти?.. Не пройти!.. Один разве вот... Недотяпа!.. Да ведь и он теперь не Недотяпа, а... Варсонофий... чин у него... высоко— не перелезешь!.. Понимаешь ты меня, али по своей мужицкой привычке ничего не понимаешь и... не хочешь понять?..

— Аминь!.. Аминь!.. Аминь!..

— Эко наладил: пока язык не прилипнет!.. Раскумекай хорошенько, что я тебе говорю: иди с братом отсюда хоть на большую дорогу, а только иди, и в церкву больше ни-ни... потому все равно: ты мужик, и на том свете, окромя как в аду, места тебе нигде не найдется!.. Только вот что еще: когда будешь уходить, не забудь захватить Недотяпин армяк: мужичья одежа!.. В ней, брат, ни на этом, ни на том свете никуда не пролезешь!..

Сказавши эти слова, монах отвернулся от Андрей Емельяныча и одним дышком задул огонек в неугасимой лампаде, приставивши к ней с другой стороны, черную руку, на которой,—видел в последний миг Андрей Емельяныч,—пальцы сложились в щепоть.

☆

Тьма, как черный ветер, бросилась со всех углов на Андрей Емельяныча, со всех сторон, почудилось ему, затолкали сильные руки, запихали под бока костяшки, выгоняя его из собора; волосы зашевелились на голове Андрей Емельяныча и приподняли скуфью у него на голове, и скуфью чья-то невидимая рука сорвала с головы и откинула далеко в соборную темь, и она ударилась где-то об угол и разбилась о камень, как склянка, жалобно на весь собор прозвенело, и в этом звоне послышался ему прощальный колокольный звон с Афонской колокольни, на которой бессменно ходит круглые сутки великий отшельник, вызванивая время и призывая монахов на молитву... Пробил двенадцатый час!..

Не помнит Андрей Емельяныч, как он выскочил из собора, как нашел двери на выход и как добрался в осенней—глаз выколи—темноте до братниной кельи, только в эту же ночь оба брата, ничего никому не сказавши и ничего не объяснивши, навсегда убежали с Афона.

☆

Была этой ночью буря большая, море в берег билось с разбегу, на улицу было не выйти: унесет! Дождь хлестал наполовину с градом в куриный желток, и потому только поутру монахи, пришедши в обычный час к собору, никого в нем не нашли, хотя все было цело, покровы и оклады

как ни в чем не бывало, только в неугасимой огонь не горел, и не было в ней даже фитиля с поплавком, на дне плавали в масле какие-то жучки и ночные черные мухи, которых днем не видит человеческий глаз, потому что живут они ночью.

Позвали тут же игумена, освятили с большим торжеством и печалью лампаду, и никто хорошо не мог объяснить, почему братья убежали из монастыря и почему после них погасла лампада.

Только много спустя, как-то ударил отшельник на колокольне не в час, послушник, прислуживавший ему, побежал со всех ног по ступеням на звонарню, отшельник знаком дал понять, что с ним говорить ему не о чем, потому немедля к нему поднялся игумен. Подвижник какой уж год ни с кем ни слова не говорил, а тут нарушил обет и опоганил язык лживой человеческой речью.

Приснился в ту ночь отшельнику сон, и по этому сну все так выходило: беглые монахи были совсем по душе своей не монахи, а христопродавцы и погубители истинной веры, что они и в монастырь-то пришли с болотной стороны, где живет вся нечистая сила, только за тем, чтобы в нужное время и в положенный срок скрасть неугасимый огонь правой веры из соборной лампады, зажженной некогда неведомым странником Варсонофием: сей Варсонофий-де, хоть и был при погребении так по монашеству назван, но на самом-то деле был просто посланник божий, и теперь в его могиле нет ни гроба, ни костей после

него не найдешь, потому что был он не человек, а только образ его и подобье... Сей-то странник и явился во сне отшельнику и все ему объяснил.

Пророческому сну тут же все поверили, потому что молчальник был и смиренник и вправду большой, тем более нельзя было не поверить, что когда после разговора игумена с отшельником хватились Недотяпина армяка, так на том месте, где он висел, даже гвоздя не осталось... Каким способом и когда пропал он из притвора, так и осталось для монахов загадкой, но понемногу стали забывать об этой не суть важной пропаже, и скоро и сама память о чудесном страннике начала забываться, и промеж папертных плит надмогильного храма, похожего издали на большую игрушку, тонким усиком пробиваться зеленая травка.

Так с той поры и осталось за сказку: кто же был безвестный странник, нареченный при погребении Варсонофием по монашеству, ангел божий али простой мужик Иван Недотяпа?..

СПИРИДОН ЕМЕЛЬЯНЫЧ

Действительно с собой унесли Спиридон и Андрей Емельянычи армяк столь дивного странника Варсонофия или этот армяк пропал как по-другому, нам трудно об этом судить...

По возвращеньи домой оба брата мало с кем рассусоливали, как, где и что, как это делают

все бывалые люди, всегда прибавляя для ради занятности к тому, что и впрямь с ними случалось.

Вернувшись, Емельянычи стариков своих в живых не застали, дом стоял заколочен, на окнах доски набиты, на крыше который год росла по сгнившей соломе густая крапива, и от всего их большого и когда-то обильного, как ни у кого, хозяйства, только и остались голуби, которых братья раньше водили.

— Смотри-ка: встречают!— сказал Спиридон, показывая на пару белых голубей, ворковавших громко с похиленной застрехи на дорогу, по которой шли братья к отцовскому дому.—Словно знали, что мы вернемся...

— Она: птица!..—неопределенно ответил Андрей и перекрестился, вступивши на сгнившую ступень галдарейки.

Сильно оба они изменились, сначала и признавать никто не хотел. Сбежались Гусенки, как на пожар, на братьев смотреть. Оно и действительно было чему изумиться: сколько времени и вести о себе никакой не подавали, а тут враз взяли да и заявились как ни в чем не бывало!.. Думали сначала все, что самозванцы, потом как вышли братья на работу, так решили, что они самые и есть, потому памятны были у всех прокосы их и валы в сажень толщиной.

Починили Емельянычи дом живою рукой и сразу принялись опять за хозяйство... Где поработают в поденщину, кое-что продали из барахла после отца,—не прошло и полгода, как колесо опять

ровно и упорно в дому завертелось, к тому же Спиридон скоро женился, взял из столоверского зажиточного дома, а Андрей Емельяныч остался на холостой ноге и, как говорили про него мужики, стал еще пуще зашибаться молитвой и книгой.

Правда, в церкви их видали обоих не часто... Видно, что ходили в нее больше для отвода глаз, как тогда и все столоверы, чтобы попы не косились и чего не подозревали,—попы везде нос совали.

Может, так и пошло бы все у них по-хорошему, потому что работники были оба лихие, что пахать, что косить в монастыре не разучились, а будто даже лучше еще да складнее все у них выходило: Андрей на лугу так уложит травяные валы—издали примешь за иконный оклад, когда трава на другой день от росы пожелтеет, а пашня—как книга с прямыми строками, раскрытая на самой главной странице: только читай, если разум имеешь!..

Может, так и промужичили бы они и смерть бы встретили в свой час, как желанного гостя, да года, знать, через два пришла в волость бумага с сургучевой печатью, и Андрей Емельяныча по этой самой бумаге увезли сначала в Чагодуй, а потом пошли слухи, что под сильным конвоем его повели на Москву, где что-то долго судили за кощунство какое-то или еще за что, бог знает, что с ними там было в дороге, когда они возвращались в Гусенки,—только слышно было потом,

что по чьему-то и какому-то постановлению Андрея забрили в солдаты. Спиридон вернулся домой бледный, как смерть, и похудевший, тихий, словно ягненок, и как ни приставали к нему с расспросами одногусенцы, отвечал всем одно и то же:

— Все в воле божией!..

И только: мужик был не разговористый!..

С той поры пропал всякий слух про Андрей Емельяныча.

Плели, правда, что будто из солдат он убежал, солоно показалось, но что в побеге его тут же словили и за побег больно отпороли корьем. Андрей-де с год пролежал в тюремной больнице, а потом и из тюрьмы опять убежал... Тут уж всякие слухи и сказки об нем кончаются.

Решили, что умер!.. Или убили!..

☆

Спиридон, одним словом, остался без брата...

Прошло так года три с его женитьбы. Жена ему выдалась дородная и красивая баба, спокойная и согласная, как редко бабы бывают.

Хозяйство и достаток с каждым днем росли и росли, подымались, как в большой квашне хорошие хлебы... Спиридон начал приторговывать по округе дегтем и маслом в развоз и вообще входить в натуру, покряжел еще пуще и даже на неприметливый глаз еще издали стал бросаться своей непомерной фигурой: не то что был он очень высок — высока и Федора! — Спиридон

Емельяныч шел весь в ширину и скоплялся в плечах и груди.

Глядя на его такую фигуру, немало дивились, пока он жил с первой женой, почему у Спиридона нет никакого приплода...

Живут рыло в рыло, худого слова никогда промеж них не услышишь, здоровьем, можно сказать, бог обоих не обошел, а за три года Спиридон никого и в кумовья не позвал.

Настоящей причины к тому тогда так и не сведали, а на догадки головы не хватало.

Только все потом разъяснилось: жена покаялась на духу перед смертью—а умерла она ровно через три года после венца,—покаялась на духу, что Спиридоновой плоти не знала и прожила с ним все эти три года, как на ветке просидела в тенистом саду, что и сам Спиридон Емельяныч до последнего часа естества ее не касался, согласно обету, который дал он в оное время в Афонском скиту, увидя на своем монашеском ложе в образе рыжеволосой и прельстительной девки свою непомерную плоть.

От сей-то плоти она и отдала богу свою неискушенную душу.

☆

После смерти первой жены Спиридон долго глядел на людей чудными глазами, почти со всеми был всегда мало разговорчив, лишнего слова не скажет, все да да нет, да того да сего, а чтоб

разговориться так, по душам, да во весь рот,— так ни-ни!..

От этих Спиридоновых укорительных глаз и молчанья как-то даже всем становилось неловко и теснее кругом: всякий, бывало, свернет с дороги, с возом едет иль порожнем, когда с бочкой дегтя в возу встретится Спиридон Емельяныч... Долго потом с шапкой в руках будешь смотреть ему в широкую спину и безо всякой причины качать головой...

Другой бы, пожалуй, спился!..

Прожил так, во вдовстве, Спиридон Емельяныч сколько неведомо лет, он и сам не знал хорошенько на какой десяток ему перевалило. Сила все та же, только в бороде да в волосах немного начинало серебреть, как по паутине осенью в первый зазимок.

По хозяйству Спиридон хорошо управлялся, держал до второй женитьбы казака и казачиху и по внешности в обиходе ничем не отличался от других мужиков. Только борода пошире других да в осанке было что-то такое, что всякого заставляло посторониться и уступить свое место, мирщинки гнушался и на сходе всегда отдавал свой стакан какому-нибудь питуху или выливал в землю под ноги, потому отказаться принять в руки мирщинку значило миром погнушаться. Старина-матушка!.. В церковь попрежнему ходил два раза в год и с каждым днем становился все угрюмей и строже на вид, и все пушистее чернела на оба глаза с легкой проседью бровь,

и все торопливей перед ним раздвигался народ на базаре, когда, случится, проходил по нему Спиридон.

☆

Второй раз женился Спиридон Емельяныч очень чудно.

Похоже было на то, что... не женившись — женился!

Первое время после смерти первой жены к нему было наладили свахи: свахам и вдовец—все купец!.. Да Спиридон их отшугнул, и сам не проявлял себя никак в этой части... Может, где на стороне что-нибудь, а у себя на дому никакого баловства за ним не замечали.

Так и решили все: Спиридон жениться не будет!.. Но ошиблись!

Ехал однажды Спиридон Емельяныч с пенькой—менял он пеньку на деготь и масло—и недалеко от Чагодуя, в том самом месте, где с большака, который лежит между нашим Чертухиным и Чагодуем, сворачивает в сторону Гусенок проселок, встрелась ему некая нищенка с виду очень невзрачная и лядавая баба, из жалости и милосердия Спиридон Емельяныч посадил ее к себе на телегу.

Для побирушки что село, что деревня—собирать куски все едино. Просидела она со Спиридон Емельянычем на телеге, свесивши ноги между колес, пока за лесом не показались Гусенки и над ними, как белые барашки, по небу не побежали дымки...

— Это что за деревня будет?—спросила баба: на девку она была мало похожа.

— Гусенки!—сердито ответил Спиридон Емельяныч...

— Гусе-енки-и!.. А-а-а!..—протянула баба и зевнула во весь рот, словно проснулась.

Только всего и разговора было у них за всю дорогу,—чего с ней говорить, Спиридон даже хорошенько на нее не поглядел: нищенка и нищенка, известно какие они бывают!..

Только когда Спиридон подъехал к крыльцу и стал отсупонивать лошадь, баба все сидела на возу, словно чего-то еще дожидалась.

И дождалась!..

Дернул же шут за язык Спиридона эту нищенку позвать к себе ночевать!..

Худого в этом ничего не было, это в старину даже в обычае было—зазывать к себе в дом нищих с дороги. Ну, да ведь тогда и нищий был совсем, можно сказать, от теперешнего отменный!.. Позови-ка сейчас: он те в ту же ночь и зарежет!..

«Ишь, Спиридон Емельяныч добрый человек какой: нищенку себе завез!»—решили соседи, глядя на бабу, которая слезала с подводы после Спиридонова приглашения и никак не могла слезть: подолом зацепила за гвоздь, и с телеги смешно болтались ее заголенные ноги, по икры обмотанные грязным тряпьем.

— Ну-у, завязилась!—недовольно буркнул Спиридон, подошел к ней и выдернул гвоздь вместе

с подолом.— Сряда-то на тебе поиздергалась, баба!..

Нищенка поклонилась низко Спиридон Емельянычу, и что у них случилось за эту ночь, как они стакались, только нищенка эта так с той поры и осталась.

☆

После узналось, что и не нищенка она была совсем, а погорельная. Звали ее Устинья, по батюшке Васильевна... с села сама Горы-Понивицы!

В этом самом селе случись о ту пору пожар: не только много скотины, а людей немало живьем погорело. У самой Устиньи, по ее же словам, сгорела, почитай, вся семья: не только старики не успели с печки убраться, а и невестка и муж ейный с детьми и добром так и не вышли. Сначала было Устинья с ума срахнулась: больно детей было жалко!..

Подпустил значит кто-то хорошего петуха!..

Уж как там они сладили со Спиридоном, никто про это не знал хорошенько, сперва даже смеялись на Спиридона, вот, дескать, какое себе чучело выбрал, нарочно искать, не найдешь, стали было дознаваться у самой Устиньи—баба оказалась разговорная,—но и от нее ничего путем не добились... Только и говорила она при таких допросах:

— Уж и не знаю сама как подумать: встрелся, знать, тогда на дороге не Спиридон Емельяныч, а... ангел божий, потому от великого сиротства и горя спас!..

Так ничего и не дознались... Из расчетов каких али вправду так, из жалости одной Спиридон Устинью у себя оставил, трудно теперь рассудить, но вернее всего, что и расчет какой-нибудь был, потому что мужик был он не промах.

Кто его знает,—в ином мужике таинственности этой накачено, ни одному барину не приснится!..

А может, и из-за того, чтобы чужого народу не держать...

Только жили они как нельзя лучше. В тот самый год, как встретиться им, Устинья родила двоешки, да что-то больно рано, если по срокам считать, опросталась. Ну, да это бывает...

Зато после до самой смерти ходила пустая.

Умерла она, царство ей небесное, добрая бабенка была, кажись, в тот самый год, когда Спиридон Емельяныч привел однажды из леса большую бурую медведицу и с ней двух ее медвежат...

МЕДВЕДИЦА

Допрежь ли этого случая с медведицей умерла у Спиридона Устинья Васильевна али после, пожалуй, хорошо не запомню, да это не так уж и важно, а вот невиданный в нашей округе случай с медведицей, то-есть как мужик с пустыми руками пересилил столь страшного зверя и покорил его своей воле, так уж да: у нас еще по сю пору старики не забыли, хотя, если спрашивать будешь, так каждый, конечно, приврет, но в существе история эта все же будет правдива.

Да если уж такой неверный Фома, так можешь сам убедиться: шкура от одного медвежонка, который у барина Бачурина вырос в большого медведя и в одночасье издох, и посейчас еще стоит у самого входа в Чагодуйском музее. И как обделан-то! Провались! Лапа вперед, будто здоровается со всяким, кто, значит, к барину придет.

И верно: чего только не собрано в нем с нашей округи... Положительно от сороки из Чертухина и до Манамаевой мурмолки, которую татарский хан Манамай будто потерял на том самом месте, где теперь стоит Чагодуй,—все есть, что касательно уезда!.. Так и называется: Музей местного края.

Будешь в Чагодуе, зайди непременно, всякая диковина и пустяковина, а главное медведь—налицо!..

☆

Случилось это все для самого Спиридона Емельяныча нежданно, он за медведицей и не думал ходить, сама она на него вышла... Гоняли по лесу эту медведицу перед этим больше недели наши охотники—Павел Безручка да Петька Цыган, и довели ее до такого остервенения, что она совсем всякий разум свой медвежий потеряла; сбились с медведицей охотники с ног, загоняли ее в яму, которую они вырыли на ее привычной тропе, но медведица по этой тропе полсотни лет проходила, а теперь, как на смех, не шла и не шла, хоть силком тащи; стала без толку носиться по лесу и по ночам сторожить у дороги—лошади

больно храпели у мужиков, кто если с темны́м возвращался домой!.. Стали уж побаиваться!..

Но тут-то вот она и налетела с ковшом на брагу!..

Должно быть, и вправду медведица этой ночью лежала где-нибудь поблизости возле дороги. Спиридон шел из Чертухина домой, а ходил он на мельницу, еще раз ее обсмотреть да в уме прикинуть, стоит ли она того, что за нее заломил с него барин Бачурин; идет он это, значит, не спеша по дороге, духовный стих про себя поет— про пустыню и старца и о том, как попадается этому старцу в пустыне сам бог—много знал Спиридон Емельяныч этих стихир!—видит в одном месте на дорогу два комышка из канавы вывалились—медвежата играют... Несь бы ему обойти али вернуться, так не таковский: перекрестился Спиридон Емельяныч и хотел мимо медвежат тихонько пройти,—ловить он их не собирался... Медвежата, должно быть, его не сразу заметили, шагах в десяти уже шел от них Спиридон, а они хоть бы что: один на спинке лежит, а другой на него завалился и грызет ему ухо. Спиридону даже смешно было смотреть на эту картину. Но, на грех, знать, под ногой Спиридона хрустнул сухой сук на дороге, медвежата вскочили, встали на лапы, и оба ни с места, только рычат—мать зовут. Тут она и вышла из чапуга. Рев поднялся на весь лес. Безрукий и Петька в это время совсем в другой стороне ее ждали и грелись на поляне у большого костра.

— Слышь!—сказал Безрукому Петька,—эн она где!..

Павел пригнулся к земле левым ухом—правое у него улетело вместе с рукой: ружье разорвало!

— Да, говорит,—это она дерет кого-нибудь на дороге. Подождь: вот нажрется... тут-то мы ее и обратаем!..

Но не задрала медведица Спиридона, встретил он ее, словно тещу, которую долго не видел,— в обнимку; медведица только и успела разодрать на Спиридоне домотканный армяк да по спине провела на все пять когтей полосу, как прочертила; Спиридон схватил ее за обе лапы, отвел со спины и левую выворотил, как корягу, наотмашь: тут-то вот и завыла медведица не своим голосом, который издалека услыхал Петька Цыган.

Легла медведица на землю к самым ногам Спиридона, словно прощенья или пощады просит... Долго так пролежала. Спиридон стоит над ней и сперва, надо правду сказать, сам себе не поверил!..

— Что, старуха?—миролюбиво спросил ее Спиридон и стал поднимать с земли за загривок.

Развязал Спиридон отченашенский поясок и на шею... Медведица молчит, встает и, как человек, охает...

— Ушиблась, матушка.

Сразу смекнул Спиридон, что медведицу ему не зря бог послал...

А медвежата и позабыли про мать, приняли они

потом Спиридона, должно быть, самого за медведя, когда он охватил их матку в обнимку, валяются опять на дороге и уши друг дружке грызут. Спиридону весело стало...

— Эй, вы, неразумыши!..—крикнул он на них и потянул за собой поясок.

Медведица что-то проворчала им на своем медвежьем наречьи, и оба они кубарями забежали за нее, и все трое покорно пошли за Спиридоном.

☆

Ну, и диву же далась тогда вся округа. Про гусенцев и говорить нечего...

На самой рани привел ее Спиридон Емельяныч... Как шла-то за ним, как теленок, дрожала вся мелкой дрожью и глядела на мужиков такими жалобными глазами, будто пожаловаться хотела. Сам Спиридон был, как всегда, только глаза налились, как у филина, кровью, и сзади лоскуты от армяка болтались, и по лоскутам на след падала кровь...

Народу сбеглось—все Гусенки!..

Главное и медвежата рядом бегут, щурятся на мужиков и на избы носом водят—близко скотину слышат и к Спиридону жмутся, как к какому хозяину, когда поближе кто подойдет.

— Ай, да Спиридон!— ахали мужики.

— Ай, да Спиридон Емельяныч!—вторили бабы.

Да уж тут нечего сказать: непомерная плоть была у человека!..

☆

А выдумал всю эту затею с медведихой не кто иной, как наш серый барин Махал Махалыч Бачурин.

Должно быть, от этого великого богатства да излишка его надоумило: незадолго перед этим случаем объявил он по всей нашей округе, что требуется ему, серому барину, медведь какой ни на есть, но лишь бы в живом его виде... Для какой такой стати понадобился ему этот медведь—неизвестно, так, может, перебесился, но вернее всего, что Махал где-нибудь был у настоящих господ и такого прирученного ради забавы медведя увидел, а потому и сам решил нагнать форсу: какой же-де барин, коли у него на цепи по середине двора медведь не рычит!.. Затравка-то эта осталась: раньше бары медведями нашего брата на масленой ради потехи травили!..

Словом, Петька Цыган да Павел Безрукий взялись барину доставить медведицу, которую перед этим как раз собирались на рогатину взять, когда она выйдет на гусенский овес, но на этот раз остались ни в тех и ни в сех!..

— Знато бы дело: всадить рогатину—и дело с концом!—сказал Павел Безрукий, когда все узналось...

— Да, прошерстили!—согласился Цыган.

И в этот день нахлестались с горя да неудачи, как еще никогда их не видали.

На медведиху к Спиридону и посмотреть не пришли!..

Конечно, дали барину знать...

☆

Махал в тот же день прикатил... Привез его Петр Еремеич,—хотя у барина и свои лошади не плохие были, но в скоропалительных случаях он всегда ездил с Петром.

Эх, и лошади же были у Петра Еремеича!..

Бывало, как пустит у тебя на глазах, так где спицы колес, где колеса кибитки, и не гляди: не найдешь!..

Да и будто это и не колеса совсем под Петровой кибиткой, а четыре печных чорта четыре черных горба подставили под кибитку да и несут ее, взметая ворохом путевую пыль на дороге, несут Петра Еремеича по полю, только звон по полю идет и в глазах у тебя все мельтешит, туда несут, куда, может, в самом-то деле один только Петр Еремеич и знает, а тот, кто в кибитке сидит да за бока кибитки держится, тот и знать-то этого не может и спросить на ходу не посмеет: скоро ли, дескать, Петр Еремеич, город Чагодуй будет?—потому что и нанимал хоть Петра до Чагодуя везти, а привезет он тебя в Чагодуй или нет — кому это известно!..

Тпрукнул Петр Еремеич на все Гусенки, когда подкатил к крыльцу Спиридона и на всем скаку осадил лошадей. Из кузова выскочил барин и за ним егеря. Спиридон в это время обмывал спину

соленой водой и сам к барину не вышел, а выслал сказать, что милости барина просит пожаловать в дом, где у него под печкой сидели два медвежонка и, должно быть, опять забыли про все и друг с дружкой играли... Сама медведиха в это время ходила по большому двору и обнюхивала стены и конский помет,—видно, совсем помирившись со своим неожиданным пленом.

☆

Чего-чего только не предлагал барин Спиридон Емельянычу!..

Дошло в конце концов у них до золотых часов, вынул их барин у всех на глазах у себя из нутряного кармана поддевки и положил перед Спиридоном на стол.

Спиридон и не взглянул на часы.

— Из-за такой малости я тебе, барин, разве отдам зверя в неволю!—Отодвинул их обратно барину и на механизм не поглядел.—Что ж, что зверь? Его тоже, как и не нас же с тобой, бог сотворил в его удовольствие: отдохнет у меня немного, я опять выпущу на волю.

Барин положил часы обратно в карман и после такого упорства хотел распрощаться, встал из-за стола и только у двери вспомнил свой давнишний со Спиридон Емельянычем торг из-за мельницы: барин больно много просил, Спиридон больно мало давал, расставались они ни с чем, и Спиридон всегда говорил Махалу:

— На базаре, барин, всегда двое глупых: один много просит, другой мало дает!..

— Ты, Спиридон, себе ума накинь, а мне цену... тогда и будут оба умные,—отвечал на это Бачурин и отходил от Спиридона, не подавая руки.

Вспомнил барин и крикнул, просунувши голову в дверь:

— Хочешь мельницу, Спиридон Емельяныч?..

— В двери я, барин, ни драться, ни торговаться не умею,—уклончиво ответил Спиридон, так, однако, весь и подавшись к барину всеми своими саженями в плечах...

— Ну, ладно, решай!—сказал Махал Махалыч, воротившись и подавая Спиридону маленькую ручку.

— За мельницу согласен!—тихо сказал Спиридон и хлопнул по ручке барину.—Очень даже довольны!..

— Шут с тобой, уходил ты меня до седьмого пота с этой чортовой медведихой!..

— Только вот что, барин,—всполохнулся Спиридон Емельяныч, как будто что вспомнил,—подъизбицу ты мне подыми еще на три венца, а то в подполе низко... головой будешь шаркаться о переклад...

Барин только ручкой махнул:

— Ладно. Это плевое дело... Давай сюда медвежат!..

— Кому малое, а кому и большое,—замысловато улыбнулся Спиридон Емельяныч,—и люди разного росту и дела у них разные!

— Экая сквалыга ты, Спиридон...

— Я только выговорить все заранее... недоразумления лучше после не будет!..

— А молодец... привел на пояске медведиху,— первый раз за весь разговор обмолвился барин о самом случае с медведицей,—да за такую редкость разве пожалею!..

— Спаси те, барин, Христос: и я премного доволен!..

Барин махнул в окошко рукой, за окном зашевелились егеря и в руках у них жалобно зазвенела толстая цепь, и лошади при этом звоне подняли уши торчками и захрапели, косясь по сторонам и чуя вблизи страшного зверя.

Так был продан вольный зверь барину в рабство.

ЗЛАТЫЕ УСТА

Нет ничего прихотливей и озорней человечьей молвы...

Она, как осенний ветер листья возле дороги, крутит и перевивает слово за слово вокруг какого-нибудь одного человека, мешая выдумку с жизнью и саму выдумку подчас так оживляя и делая ее такой верной и точной, хотя бы на самом деле этого и не было никогда да и быть не могло, что выдумка эта становится сама любой правды правдивей и интересней, потому что всякий человек по своей породе большой мечтун и небылишник. Особливо мужик: есть такие словогоны среди нашего брата! Откуда у него это

только берется? Жалко вот только, что таких мужиков становится с каждым годом все меньше и меньше... Без них жить гораздо скучнее да и... хлеб родится похуже!.. С языка у него, послушаешь, слово за слово не зацепится, а как песок меж пальцев—не остановить... Такому словогону не дай бог никому на язык попасться! Он тебя поставит кверху ногами, а ты и не заметишь, когда же и как все это могло произойти и случиться, и будешь до седьмого поту божиться, а все равно тебе уж никто не поверит!..

Да и жизнь сама выкинет подчас такую несоразмерную штуку, что и ее потом можно принять... за складчицу или колдунью!..

☆

Потому, если теперь попросить какого-нибудь гусенского старика рассказать по порядку всю историю про медведиху, так он уж так не расскажет.

Может, и так все это было, как мы только что все рассказали, а может, и совсем по-другому.

Самое главное: трудно в наше время понять, как это простой мужик обломал такое зверье: народ пошел щуплый, грудь—корзинкой, брюхо—дырявым мешком, ни в ногах, ни в руках... а подчас в голове так же...—куда ему тут с медведем один на один тягаться?.. Хоть паршивое ружьишко за плечами таскать вместо пудовой дубины, да при случае от зайца дёру не дать!..

Отсюда и пошел разговор, что Спиридон Еме-

льяныч хоть и покорил медведиху, но покорил ее не одной своей силой, которой и вправду у него было немало.

Покорил-де Спиридон страшного зверя больше тайным словом и звериным псалмом из книги «Златые уста». В этой самой книге на каждый случай жизни и на всякого зверя, и гада, и на лихого человека, и на всякую какая ни на есть на свете лихота и болесть было свое утишение и оговор. Вот оно слово какую силу имеет!... От слова весь мир пошел!..

Дорогая та книга «Златые уста»!..

В сей книге счастливцу, раскрывшему ее на любой странице, виден весь мир, как на ладошке яичко!..

Трава и деревья, звери и птицы, рыбы и люди,— все в ней рассажены по своим местам, как на чинном пиру, никто не обижен, и никто чересчур не оделен, и шайка и хозяйка у всякого есть!..

☆

Вот в этой-то книге сказано было, что у бога нет никакой бороды!..

Есть-де бог, но не такой, как об нем говорит отец Микалай!..

Есть бог... безбородый, потому бороде негде на нем поместиться, ибо он есть высшая плоть, плоть плоти, сиречь речь говорится: нескончаемый дух!.. Только всего этого человек хорошо не может понять, потому что у человека в мозге одного такого винтика не хватает, на котором и

держится вся эта машина... Хоть бы смерть: никто оттуда назад не приходил и не рассказывал, как это там... какие, дескать, порядки!.. Тут вся и разница: человек, как палка, о двух концах, а у бога и в конце-то всех и всяких концов нигде и никакого ни в чем нету конца... Тут... мудреная штука... Можно голову на бок свернуть!..

Сказано было еще в этой книге, что у чорта на ногах есть копыта, похожие больше на такие, как у свиньи, но их-де человеку никогда не подковать, потому что сам чорт хоть и железной породы, но на ем не держатся гвозди, не смотри что гвоздь ему в пятку пойдет, и он тебя будет на спине шибче любой лошади катать!..

Но человек-де и того не понимает!..

Не понимает, что лучше подчас, не торопясь, пешочком итти, чем трястись во весь дух на телеге... Спешить, право, некуда: спеши не спеши, а как гиря до полу дойдет, так и кончик!..

А не понимает он потому, что какая трава по дороге, и та больше знает, чем человек, почему и похожи дни человека на эту траву!.. Человечий сад цветет при широкой дороге, и по этой дороге проходит косец и у косца коса за плечами, и коса никогда не тупится!..

Самое главное: нет у человека правильного глаза на все... Ему больше... кажется, а он принимает всурьез... Глаз у него ленивый и надменный, от человечьего глаза сглаз даже бывает, когда этой черной силищи в кого-нибудь одного через меру накачено. Нам ведь все кажется, что

в мире одни мы только стоим на ногах, а все остальное или ползает перед нами на брюхе или стоит бессловесным столбом, тогда как на самом-то деле совсем и не так!..

В особ час и деревья в гости ходят друг к другу в лесу, как в престольные праздники мужики по деревне, и корни у них, что у нас ноги и пальцы, и на самой вершине, где последний на ветру трепещет листок или хвоя пушистая на ветке, как бровь, у каждого дерева смотрят прямо в небо глаза, только человек этих глаз никогда не увидит: хватит мужик по древесине топором или пилой, подрежет суставы, и дерево без единого слова только крепко зажмурится, чтоб не видать человека и его топора, и на месте древесного глаза остается одна лишь росинка... слезинка...

Только придет такой час, час горькой расплаты для человека, когда от него все деревья убегут на... новое место!.. Есть такое царство, куда еще ни зверю, ни птице не открыто дороги!..

Потому и сказано было в книге «Златые уста»: «Помни, человече, на каждом столбе при дороге и на каждой пылинке с нее дух невидимо почил... И в мире есть одна только тайна: в нем нет ничего неживого!.. Потому люби и ласкай цветы, деревья, разную рыбу жалей, холь дикого зверя и лучше обойди ядовитого гада!..

Но больше всего люби крылатую птицу!.. Ибо птица есть образ души!

Потому: все умирает и в землю уходит, чтоб дать из нее новый росток, вплоть до воды, птица

же, когда почует смертный ветер у себя под крылом, умирать улетает с земли в вышину и там в выси непостижной долго-долго кружит: ищет она особое место, где на десятитысячелетнем дубе на самой верхней ветке его сидит огненная птица Финуст, бьет эта птица поутру и повечеру над землей красным хвостом и каждый день кладет на край земли утром золотое яичко, а к вечеру— серебряное, одно катится по небу днем, отчего и жизнь и радость есть на земле, и никто этой жизни и радости в особь не хозяин, а другое повечеру, чтоб крепче спалось мужикам и навной чорт баб не кусал в темноте и чтоб светлее было зверю в лесу!..

К этой-то птице и полетит в свой час человек, когда для него все числа и сроки исполнятся и весь лицом он и душой преобразится...

Да мало ли о чем в этой книге сказано было, все в этой книге было сказано, о всем было в ней прописано... о животе и о смерти...

Эх, братцы, жалко, что нет у меня ее сейчас под руками...

☆

По этой-то самой книге и покорил, говорили у нас, Спиридон Емельяныч бурую медведицу, а что нашел книгу брат Спиридона Андрей.

Выходило все так:

В то самое время, когда они воротились с Афона, Андрей Емельяныч, как известно, стал зашибаться молитвой: целые недели он проводил на

Светлом Болоте, куда и нога человечья в то время, может, еще не ступала, потому что пройти на него было за диво...

Но Андрей Емельяныч как-то ухитрялся и проходил!..

Должно быть, через окна плавком!..

Брал он из дома небольшой узелок с хлебом и солью, но, конечно, не надолго хватало,—много берет этого добра широкая мужицкая кость,—вернее всего, на болоте он питался вместе с глухарями брусницей или малиной, которой росло в старое время на Светлом Болоте на островах, где посуше—леса, да еще каким-то корешком теперь пропавшей на этом болоте травы, дает эта трава и плоти утоленье, и легкость животу, и духу веселость!..

Должно быть... калган!..

У него цветы похожи на грошик!..

На этом-то Светлом Болоте жил леший Антютик, только Андрей Емельяныч его ни разу не встретил, нечего зря говорить, потому он уж не соврал бы, сказал!..

☆

Однажды в светлоосиянный день по ранней осени, когда с дерев падает последний листочек и каждое деревцо лепечет им на тихом ветру, словно торопится что-то дошептать про себя, али, может, дочитать перед зимним сном какую-то свою древяную молитву, отчего на многие версты идет по лесу звон, и его никогда не сменишь на колоколь-

ный,— сидел Андрей Емельяныч возле болотной коряги, уставши с утра молиться и плакать. Плакал Андрей Емельяныч не за себя, а за род человечий!..

Плыли у него под еще не пробежавшей слезой высокие облака на север за снегом, и по небу тянули с севера длинной веревочкой гуси.

Сидит Андрей Емельяныч, любуется своей мужицкой освобожденной душой и изредка возле себя сколупнет с ветки брусничку...

Долго так просидел Андрей Емельяныч, без думы, только одни глаза широко раскрывши... Когда же ударила заря к вечеру по всему болоту красным лучом, Андрей Емельяныч увидел, что совсем возле него под корягой лежит раскрытая книга... Видно, что кто-то ее перед этим читал да так, не дочитавши до конца, незакрытой оставил.

Книга эта была писана от неизвестной искусной руки на больших листах толстой бумаги, коряблой, как береста, и с боков у нее здоровались заячьи лапки, висели небольшие серебряные застежки.

Дивно письмо было в той книге!..

Буковки в краску, слова все под титлами, последняя буква все ерь да еры, и титл закрывал тайный смысл слова, как с ветки упавший сучок!..

Титл есть знак, а знак надо раскрыть, а чтобы раскрыть что-либо в мире, надо просветленную душу!.. Ибо все тайное покоится перед взором человека в образе повседневных, привычных предметов, проходит мимо них человек, ничем не уди-

вленный, у него на все глаз наметался и потому все равно как... ослеп!..

Потому Андрей Емельяныч не сразу разглядел эту книгу... принял он было ее за куст переспелой брусницы, которая рядом с книгой пушилась, и отливалась в бруснице каждая ягодинка, как и каждая буковка в книге.

Вот эту-то самую книгу и оставил Андрей Емельяныч брату своему Спиридону, когда к нам из Чагодуя пришла бумага и, знать, по толстым сургучам этой бумаги Андрея забрили в солдаты и в солдатах потом запороли корьем.

Есть у нас еще и сейчас старики, которые видели эту книгу в избе у Спиридон Емельяныча, но читывать ее никому не доводилось... Лежала она у него в переднем углу на божнице между псалтырем и житиями. Спиридон на людях до нее и не прикасался, да, видно, и сам-то в ней не понимал всего ее толку, потому что в грамоте был неискусен, и если знал что из писания, так больше на память...

Всего вернее что так, потому не такой человек был Спиридон, чтобы сменять петуха на кукушку!..

☆

Когда барин приехал в Гусенки и стал торговаться со Спиридоном о цене на медведицу, она ходила по пустому двору—в это время скотина вся в поле была. Обнюхала она все уголки и закоулки, обсосала вывороченную Спиридоном наотмашь лапу и, должно быть, немного в разум

пришла. Из избы ясно до нее доносились голоса,— слышит она пискливый, словно мышь на своих мышат радуется, тонкий бачуринский голосок и нутряной, из груди выпирающий темный голос Спиридона, похожий на отдаленный звон колокольни. Поняла медведица, что хочет ее Спиридон продать барину в рабство!..

Жалко медведице стало своих медвежат, да нечего делать: зверь любит свободу больше, чем человек!..

Пока они там торговались, залезла медведица на переклад, где куры несутся и собран разный хозяйственный хлам, и на накате процарапала здоровой лапой в крыше солому, сломала жердь по соломе, и в тот самый миг, когда у егерей в руках звякнули цепи, она соскочила, как молоденькая, в Спиридон Емельянычев огород, что всегда у нас сзади дома,—оттого и поднялись так торчками у коней Петра Еремеича уши.

Проковыляла она по огороду, как подбитая баба, а потом, откуда прыть взялась, выбежала за околицу, поваливши огородный плетень, а за околицей в то время тут же за Гусенками стояли кусты и за кустами, рукой подать,—чертухинский лес...

Первые ее егеря увидали, свистнули было, да где!..

В лесу медведиха словно провалилась сквозь землю... Должно быть, издохла, дохлого же зверя человек никогда не найдет: зверь умеет сам себя хоронить.

Бросился было и Спиридон ее догонять, да было уж поздно: воротился ни с чем. Сели они с барином опять на лавку за стол и долго не могли ни слова друг другу сказать, потому больно уж это неожиданно вышло с медведихой.

— Вот уж и верно, Спиридон, как ты говоришь: на базаре двое глупых,—первый заговорил барин и усмехнулся на Спиридона.

— Не говори: какой грех!..

— Ну, так как же теперь будем кончать?..

Спиридон молчал и не знал, куда глаза и руки девать.

— Мне, Спиридон Емельяныч, пора, и так завозился!..

— Да как тут кончать?—осмелел Спиридон.— Я уж теперь и не знаю: у кого медведица убежала—у тебя или у меня, потому мы сторговались и хлопнули в руки...

— Ну, эти балушки ты, Спиридон, оставь для другого, не с дураком каким дело имеешь!—сердито пискнул Бачурин.

— Да кто вас, барин, дурит... умнее вас по всей округе никого не найдется... Только я.. по справедливости!..

— Полно, Спиридон, антиминсы на пне раскладывать: справедливости нет никакой!..

Тут-то вот барин Спиридона и облапошил: должно быть, пока бегал Спиридон догонять медведиху, он у него на полке все книги пересмотрел.

☆

— Я, видишь ли, Спиридон, не знаю: была у тебя медведиха на самом-то деле али нет... бог тебя знает: может, ты глаза отводить умеешь?

— Нет, уж мы этим не займуемся,—намекнул Спиридон, что сам-то барин как раз на эту руку не особенно чист.

— Но ведь... медвежата остались!..

— Остались! Как же, остались!—радостно подхватил Спиридон, словно про них и забыл...

— Ну, вот... за этих медвежат я согласен, Спиридон Емельяныч, отдать тебе мельницу...

— Ну, что ж... Вот и ладно!..

— И три венца подрублю!..

— Вот уж спаси те, барин, Христос!..

— Только и у меня к тебе будет добавка,—равнодушно сперва барин отвернулся от полки, на которой были иконы и книги, а потом словно прыгнул к ней.—Сниму солому и дом тесом покрою и по лицу тесом... а ты мне к двум медвежатам вот эту книгу прибавь.

Бачурин снял с божницы «Златые уста».

Уж то ли затемнение какое случилось со Спиридоном, то ли еще почему: может, принял книгу за простой самый обычный псалтырь, или знал все хорошо, да больно мельником ему быть захотелось, хорошо неизвестно, мотнул Спиридон головой и ничего не сказал.

Облупил, значит, барин Спиридона, как липку,

и с той поры пропала, братцы, эта дивная книга навеки!..

Потому, что̀ к этому народу попадет, так уж не выдерется!..

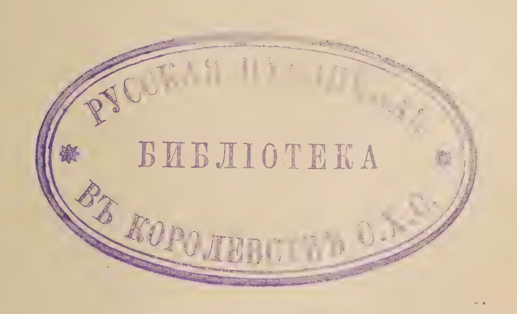
Повеселел барин на лицо, хлопнул он в Спиридонову лапу своей маленькой ручкой и с книгой подмышкой пошел на крыльцо. Спиридон с поклоном его провожал. Петр Еремеич усадил барина половчее в кибитку, с боков егеря поместились с медвежатами, прыгнул Петр Еремеич на облучок и скоро заплакал под дугой колокольчик, унося Спиридоново счастье.

Эх, мужик, борода, как лес, а такой диковины не уберег!!.

Так говорят у нас старики: не знаю—чему больше верить... Я-то думаю, что могло быть так и этак, а вы... можете ни тому, ни другому не верить!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СОН-СИТНИК



ДУРНОЙ ЗВЕРЬ

— Так был продан вольный зверь барину в рабство. Потому умный зверь никогда не пойдет по дороге, которая проложена топором, и не побежит по тропе, намятой ступней человека.

У зверя свои, звериные тропы, которых подчас человек и не видит, потому что зверь по земле умеет ходить, не попирая травы... И часто что лось по болоту пройдет, что птица пролетит над этим болотом—все едино: от них и духу никакого не будет.

Зимой дело другое!..

В ее белом зеркале видит звериная смерть, где какой зверь ни пройдет... За лисой тянется цепочка, как от часов, от зайца остаются все лапки, и передняя показывает на снегу, куда он спетлял, от волка памятка—острые когти в ту сторону, куда он глядит, когда идет за добычей!..

Ни один зверь не ухоронится от смертного глаза!..

И часто в лесу перед звериной кончиной звериная смерть трубит беззубым ртом в звонкий охотничий рог, торжествуя победу.

Не вздумай пойти да поглядеть, что там стоит за охотник!..

И ты попадешь ему в пестерь!..

Потому умные звери и не выходят зимой из берлоги: лучше-де в берлоге лапу сосать, чем висеть одной шкуркой у печки, хотя у печки и много теплее.

У зверя свои, звериные тропы, и разум у зверя—звериный!..

И зверь с человеком спокон века живет во вражде!..

Ой, и не любит же зверь человека!.. И запаха его даже не любит! Ни от одного зверя так не несет, как от человека, а уж то ли зверь не пахуч, когда он линяет! Тяжелым человечьим дыхом ни один зверь не может дышать, потому, наткнется зверь на дороге на след от колес, и у него сама поднимается шерсть на хребтине.

А все оттого, что человек, переставши быть зверем, сам стал больше, чем волк или медведь, на дикого зверя похож, хотя и сменил шкуру на пестрядину, ходит в церковь и в баню, но ни святее, ни чище не стал, и тайна, которой держится мир, попрежнему бежит от человека, как незаметный на снегу горностай от лисицы. Все в мире человека... боится. А все оттого, что хитрости в нем—так уж да!..

Уж и хитер!..

Этой-то хитростью и переманил он из леса немало слабых зверей к себе на вечное рабство: коня в железо обул, быку на шею ярмо наложил,

из барана шьет шубу и делает сальные свечи, собаку приучил за хвост и за лапки приносить из леса целого зайца, рысь в кота обернул, кабана—в свинью, и сам стал самым дурным, поганым зверем—свиньею!..

Даже какой петух, и тот позабыл, что он совсем и не птица, а ...лесные часы, и некогда в роковой день перенес роковой двенадцатый час из леса на скотный двор к человеку...

Пошел было его домовой выручать, да и сам приручился, и у него, как у настоящего беса, рога отросли, меж рогов плешь, словно блюдо, и ведет он дружбу с тех пор уж не с нами, а с нечистым, нечистый же спокон века живет с человеком, и нет такой хаты и дома, где бы не было с добрый десяток чертей, только так, на простой глаз они не больше... мокрицы!..

На каждый обиход человека есть свой особо приставленный чорт!

Есть чорт, как видишь, соборный, в чертях чин высокий, он только в карете с архиереем ездит по епархии, а если и служит, так где много торжества и народу, и есть чорт сортирный; живет он в больших городах, в уюте, удобстве, спит на пружинном матраце, и все его назначенье—в руках держать наготове бумажку и подтирать человеку сиденье.

Но на чорта человеку теперь начихать!..

Он ему зубы пять раз сам заговорит!..

Чорт и человек не мешают друг другу, потому оба живут во уничтожение мира и жизни.

Ой, бегут за годами годы еще быстрее, чем мои лоси от пули!..

Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей передушит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги—подрежет пилой-верезгой. Тогда-то железный чорт, который только ждет этого и никак-то дождаться не может, привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что чорт в духовных делах—порядочный слесарь.

С этой-то гайкой заместо души человек, сам того не замечая и ничуть не тужа, будет жить и жить до скончания века!..

☆

Так Антютик закончил рассказ, когда они с Петром Кирилычем сидели на спине высокого лося и любовались на Боровую мельницу. Как уж там обо всем ином рассказывал ему Антютик, мы доподлинно верно не знаем, но вернее всего, что еще больше прибавил, чем мы, потому, как-никак: все же леший!..

Слушает Петр Кирилыч, как зачарованный, и не может пошевельнуться, хотел было спуститься на землю, но Антютик схватил его за руку, сжал ее и на весь лес гикнул: лось на сажень подпрыгнул, повернулся в скачок и вихрем вынес в кусты.

Ветер засвистел Петру Кирилычу в уши, у кустов и низкорослых деревьев подолы так и за-

ходили, как у баб на свадебной пляске... Но не прошло и минуты, кажется, снова все стихло, лось пошел неторопливым шагом, сощипывая по дороге с канавки траву. Антютик молчал, молчит и Петр Кирилыч... и словно не видит, как сменяются сосны и ели березовыми и осиновыми рощами: всюду разлито тихое дуновенье весны, которое бывает в первые весенние ночи, когда неожиданно грянет тепло и землю распарит, и пышет тогда от земли, как от молодухи.

Со всех сторон, с веток кустов и деревьев, вытянулись зеленые ушки и слушают и дивятся и ни наслушаться ни надивиться, видно, не могут.

— Я,—заговорил вдруг Антютик,—я... самый большой помещик в округе, столько у меня еще лесу и все какой лесище: сосны хоть на небо полезай, елку в пять рук не уберешь!.. А уж чапугу этого да чекрыжнику, годов на... сто хватит, если Цыган петуха в сухмень не подпустит. У меня всему ведется строгий учет: такие ревизские сказки, где какой водится зверь и где какие птицы поют!.. Под птичий голос хорошо, Петр Кирилыч, спать на мху где-нибудь под сосной или елкой!..

— Хорошо,—печально отвечает Петр Кирилыч.

— Эх, и хорошо же в лесу!... На каждой прутинке висит по полтинке, каждый сучок тянет тебе пятачок. Да в нем-то: каждый нищий на манер богача, только ...человек во всем этом всякий скус потерял и ничего уж не видит да и видеть теперь уж, должно быть, не будет.

Петр Кирилыч обернулся на Антютика и поглядел на него, что он—как на лицо: шутит али... всерьез!.. Самому ему эти мысли не раз на ум приходили.

— Ты-то вот, Петр Кирилыч,—продолжал Антютик,—ты-то вот, знаю я, все понимаешь, потому что человек ты... чудной и на других не похожий... и мне пришелся по скусу... А остальные у вас в Чертухине такая-то все шваль да рвань, не к слову сказать, что и возиться с ними нету охоты... Только ты передай, чтобы поосторожней... Лучше пусть не попадаются на Светлом, а то... утоплю!..

В это время в Чертухине пропели последние петухи, и Антютик приставил руку к глазам и посмотрел на синее небо, синё оно, как только бывает синё перед утром, когда по всей земле проходит последний утренний сон, столь сладкий, что от него и у звезд слипаются веки.

— Ну, теперь, Петр Кирилыч, пора!.. Скоро будет взаправду светать. Жалко мне, что все же дела ты не довел до конца... Ну, да все еще впереди. Теперь все зависит, как ты сам его поведешь... Ты меньше бери на глаза, а то засмотришься, рот разинешь и не заметишь, как в него ворона влетит... ты... ты больше действуй!

— Да как вот?.. Больно трудно к ней подступиться!

— Э!.. вот уж трудности-то никакой... Не пень из земли тащить. На то и сунгуз!.. Теперь надо тебе почаще наведываться сюда: не равно она

опять будет купаться. Понял?.. Ну, теперь, значит, прощай!

— Прощай, Антютик,—говорит Петр Кирилыч, опустивши голову,—ты мне больше родного отца!

— Доброе слово!.. Вот уж спасибо. Только у меня к тебе еще будет дело... ты это попомни... Когда—не скажу, будет видно! А пока, Петр Кирилыч, ложись-ка, усни. Тебе это будет вот как полезно!.. Да и меня, Петр Кирилыч, отпусти по-добру по-здорову, потому что от зрячего человечьего глаза нам можно себя навек изурокать... Чего доброго тоже вырастет хвост, а не то плешь проточит моль на затылке: нехорошо!.. Дурно-ой глаз у вашего брата!..

— Что ты, Антютик?—обиделся Петр Кирилыч.

— Да ты уж не обессудь... а ложись-ка, ложись, Петр Кирилыч...

Петр Кирилыч кругом оглянулся и удивленно заметил, что опять они у того же самого места, у Густой Елки непозадалеку от дороги. Антютик соскочил с лося на землю, снял, как ребенка, Петра Кирилыча и махнул еловою веткой. Лось спокойно пошел между елок, сощипывая на-ходу рывком молодые побеги. Петр Кирилыч только тут и разглядел, что рога у него золотые... А может, в сучья, похожие на развилки лосиных рогов, пробил лучом первый рассвет... Кто его знает?.. Утром может все показаться...

Антютик проводил лося долгим пристальным глазом, а потом пригнулся к земле, припрыгнул и высоко поднялся под ветки, зацепился рукой

за вершину, качнулся на ней и гукнул три раза на весь Чертухинский лес, потом завернул полы длинной поддевки, раскачался и бухнул куда-то на землю.

Но все это Петр Кирилыч видел и слышал уже сквозь спокойный предутренний сон, когда у человека отнимаются руки и ноги, и сам он тонет куда-то на глубокое дно.

Слышал он только, как где-то далеко в лесу на болоте словно обломилась вершиной столетняя ель и как она ряхнула на весеннюю гулкую землю.

«Это Антютик поддевку свою скидает!»—подумалось Петру Кирилычу во сне.

После этого стало в лесу еще тише, ни одна ветка, кажется, не промолвится словом, и сам Петр Кирилыч уже не думает ни о чем, а повернулся на бок половчее, обхватил коленки руками и заснул крепким сном.

☆

Долго ль так проспал Петр Кирилыч, хорошо и ему неизвестно.

Только проснулся он рано поутру, когда еще и солнце не встало, а только висела над лесом розовая занавеска... В елях плыл большими хлопьями розоватый туман, и от тумана тянуло свежим древесным листом, рекой и карасями.

Петр Кирилыч потянулся на мху и стал вспоминать, что с ним за эту ночь приключилось.

«Говорить кому али нет?—спросил он себя.—

Нет, пожалуй, лучше молчать... а то будут... смеяться!.. Вот когда поженюсь, тогда дело другое.... И поклон передать тогда можно!.. А пока, Петр Кирилыч, держи язык за зубами!..»

Петр Кирилыч, сладко зевая, поднялся, потянулся на оба бока и не спеша пошел на дорогу. С поля булбыкали тетерева и вдали над болотом высоко блеял быстрый бекас, передразнивая глупого барана, который за клок мелкого сена променял человеку свою пушную шубу.

Вышел Петр Кирилыч на лесную опушку и перекрестился.

«Не диво ли: за ночь никакой зверь не заломал!..»

В это время на повороте, где загибает дорога из Чертухина на Боровую мельницу, Петр Кирилыч в белом и густом тумане ясно расслышал чилиньканье бубенцов Петра Еремеича, который, знать, далеко собрался кого-то везти, если выехал по такой рани из дома.

Хотел его Петр Кирилыч окликнуть, но постоял немного, послушал, как переливаются под дугой колокольцы, словно серебряная водичка течет, и почему-то раздумал.

«Ешь, Петр Кирилыч, пирог с грибами, держи язык за зубами!..»

А туман все валил и валил, как полова на току.

Навалило его, инда и за три шага не видать. Только там, где должно стоять Чертухино, высоко над туманом, плывущим по самой земле, машут соломенными и тесовыми крыльями крыши,

как птицы, которые высоко поднялись и сделали круг, чтобы со всех сторон на весну полюбоваться, и теперь садятся всей стаей на землю.

ФЕКЛУШИН СОН

Снится Феклуше лазоревый сон...

Та же мельница, та же плотина и так же звонко стекает с плотины вода. Только вкруг мельницы чертухинский лес теперь стоит, на лес совсем непохожий...

Развеяли сосны на ветер под самую небесную синь большие знамена, ели уставили пики, и по берегам низкорослый бредник и ольшняк, как шатры над самой Дубной; спит в этих шатрах какой страны и осударства неведомо несметное войско, и над шатрами плывет белесый туман.

И то ли солнце всходит в тумане, то ли из-за леса едет большой богатырь на белом коне—не понять!..

Горит у богатыря на широкой груди из чистого золота щит, и пышет огнем золотой шлем на голове.

Видела еще такие шлемы Феклуша в Москве у пожарных, когда они, уставившись в ряд на колымаге, как на картинке, скачут по улице, и все сторонятся перед ними, и все им дорогу дают, и каждый прохожий, делец и зевака, на минуту остановится и оглянется вслед, потому что и они в эту пору похожи на богатырей!..

Скачет богатырь прямо по Боровой дороге на

мельницу, только, видно, не рожь и не жито молоть. Откуда он скачет, несутся тучей птицы-сороки, а птицы-сороки раньше всех птиц приносят в клюву первый солнечный луч поутру из далекого царства, где только два цвета на всем — белый с синевой, как у мартовского снега, и черный с вороненым отливом. Все царство — как сорочье крыло, почему и прозывается это царство Сорочьим!..

По всему должно стоять в той стороне, если глядеть на него с Боровой мельницы, наше село Чертухино, но сейчас хорошо Феклуша не знает, стоит оно там или нет, потому что летят сейчас оттуда большой стаей птицы-сороки, а птицы-сороки летят поутру из Сорочьего царства, — такой душистый ветерок веет оттуда, и никогда еще Феклуша не видала в той стороне такого сиянья!..

Царство Сорочье!.. Царство Сорочье!..

Про которое рассказывал дедушка ночью!...

Говорил он о нем, что светит там луна ночью и днем, что ни зверь и ни птица человека там не боится, потому что правит там всеми людьми и зверьми, не ведая чисел и срока, премудрая царица-Сорока!..

☆

Одно только все так же, как и на яву до этого было: Феклуша вышла на прибережный песок из дубенской воды и надеёт не спеша голубой сарафан с золотыми пуговичками по переду и, оде-

ваясь, смотрится в реку: белее тумана лицо у Феклуши, глаза синей васильков и румянец на щеках, как верхняя корка на куличе, на которую чуть пахнуло из ладно истопленной печи первым жарком.

— Неужли ж я такая... красивая?—сама себе не верит Феклуша.

Загляделась Феклуша на свой куличный румянец и совсем не заметила и совсем не слыхала, как к ней близко подъехал с дороги и тпрукнул коня богатырь.

У коня белоснежная грива, передняя нога одна колесом и круто под белой пушистой гривой выгнута шея, как в половодье вода у плотины.

Не успела Феклуша сказать своего девичьего «ах», как богатырь с русыми кудрями в скобку подошел к ней, взял ее за дрожащую руку и прижал к холодноватому золоту лат... Но хоть и одет он как богатырь, а видать... самый заправский мужик: горшечная скобка, с кудрей капит розово-лампадное масло, только на руках ни засадины ни мозолинки, и до того у него очи сини, что и взглянуть забудешь, как утонуть побоишься!..

— Здравствуй, красавица! Али ты на кого другого меня променяла? Али... я огляделси?

Феклуша смотрит на него одним глазком и молчит.

— Кто ты, красная девица? Кто?.. Скажи-ка мне свое имячко. Вот уж без малого тридцать годов езжу я по белому свету и нигде не вижу

людей... в настоящем их виде... одни колдуны да колдуньи и все такие кривые и мерзкие хари,— не сотвори креста, самого на-бок своротит... Кто ты, красавица? Кто?..

— Феколка с... Боровой!—отвечает ему тихо Феклуша.

— С зверовой Боровой, где хлеб даровой, а вода и подавно. Здраствуй, царевна Дубравна!..

— Царевна... живет у нас... под плотиной... а я мельничья... дочка Феклуша!..

— Береза не елка, а ты... не Феколка!.. Здравствуй, царевна Дубравна! Али ты никак меня не узнаешь?..

— Кабы знала я да ведала, ох, три дня бы не обедала,—шопотком отвечает Феклуша.—Здравствуй князь Сорочий—синие очи!..

За милую душу, крепко богатырь прижал Феколку к чепраку на коне, и конь повернул к ней свою под белоснежною гривою шею и громко на весь чертухинский лес и на все дубенские плесы заржал.

— Что как батюшка проснется, али узнает... Митрий Семеныч?..

Но почему-то и при этой мысли Феклуше не сделалось страшно.

☆

Что дальше случилось и как все это случилось, Феклуша сама не может понять.

Слышит она сквозь соловьиный последний утренний свист соловьиный ласковый голос:

— Красота ты моя и отрада!..

Пошло все кругами перед Феклушей и в середине под самым сердцем зажгло и в горло хлынуло такое тепло от чужого дыханья, и такой теплый ветерок с далекого поля дует в лицо и шаловливо задирает подол, что кажется скоро и совсем перестанешь дышать и рукой не достанешь до голых колен, у которых золотым радостным звоном звенят золотые пуговицы и шелестит сарафан, взбитый в синюю пену... Посередине Феклушу всю разломило, и на щеку катится из-под полузакрытых ресниц, как первая капля дождя, большая слеза...

— Погляди на меня хорошенько и запомни навеки... Через десять лет я вернусь. Жди меня терпеливо, и через десять лет приведи ко мне сына, которого ты понесешь.

При этих последних словах почудилось Феклуше, что она с большой горы валится вниз, в груди совсем захватило дыханье, и в горле словно что-то застряло, колени, как крылья у ширяющей птицы, взметнулись, руки упали, отбитые вниз, глаза замутились, ничего больше Феклуша не видит, ничего больше Феклуша не слышит... только, как первый весенний гром прогремел, промолотил конь хрустальным копытом по горбатому мосту через Дубну, и по всему поречью за ним на тысячу голосов прогремело...

☆

Должно быть, от этого стука конских копыт и проснулась Феклуша: на мосту и в самом деле

стояли чубарые кони, над коренником золотилась на восходе крутая дуга, на дуге привязан на сторону за язычок большой колоколец, чтоб зря до время не болтал перед дальней дорогой, по обороти чилинькали мелкие бубенчики, нельзя кореннику ногой переступить, как они уж сполохнутся и на самые разные лады прозвенят...

Спросонок чуть разглядит Феклуша, как пристяжки помахивают по сторонам головами и все разом тянутся к Петру Еремеичу, который перегнулся с веревкой в руке за мостовые перила и ведерком в Дубне черпает им свежую воду.

Феклуша схватилась за голую грудь и вскочила на ноги, кой-как натянула на себя станушку, и когда нагнулась поднять с земли сарафан, из-под станушки на желтый побережный песок упала еловая шишка, повыше колен осталась смола и на смоле розоватые ее шелушинки, как первая девичья кровь.

Покраснела Феклуша, вспомнивши сон, накинула поскорей сарафан и, подобравши в обе руки подол, побежала к воротам.

☆

По мельничному двору расстановисто ходили белые кахетинские куры, возле телеги с оглоблями, завязанными кверху на чересседельник, кружился на одном месте черный с отливом индюк, распустив с носа бахромистую розовую кисть и надувшись перед телегой каждым пером: на телеге, пощипывая перья, индюшка равнодушно расста-

вила лопаточкой хвост, а из небольшого окна, в которое домовой на улицу ходит, корова Доёнка вытянула вниз рыжую голову с белым яблоком по средине рогов и большим языком достает у стены молодую крапиву.

По всему было видно, что ни Спиридон Емельяныч, ни Маша еще не вставали.

Феклуша, не торопясь, пошла на крыльцо. Дверь была так же чуть приоткрыта, как оставила она вчера ее за собой, потому что думала скоро вернуться.

Заглянула Феклуша за дверь и почему-то для себя непонятно она почувствовала большую радость, что никто не заметил, как вернулась домой, и вчерашняя встреча с отцом на плотине и разговор с ним, чудной и непохожий на всегдашние их разговоры, теперь Феклуше кажутся сном, про который, не дай бог, если узнает Спиридон Емельяныч.

С крыльца Феклуша обернулась и на минуту осталась в двери, держась за широкую скобку: с крыльца видно далеко Дубну, и она кажется теперь Феклуше еще синей и роднее; в том самом месте, где вчера она искупалась, на желтом песке лежал ее кумачовый платок, а вкруг него бегали кулички-песочники. Виляя хвостами и поминутно кланяясь друг дружке головками, будто поздравляя с чем-то друг друга, тихо посвистывали они в свои тонкие камышовые дудочки, по голосу схожие с теми, какие делают у нас чертухинские подпаски по весне из рябины. Далеко, далеко, где поворачивает

Дубна на Гусенки, низко над нею нагнулся русоголовый месяц, глаза у него закрыты, губы словно что шепчут сквозь утренний сон, и облако под ним похоже на белого коня с пенною гривой, какого видела Феклуша во сне.

«Надо Маше сказать... не снимет ли вода с нее худобу!»—подумала Феклуша и, улыбнувшись молодой и счастливой улыбкой, скрылась за дверью.

ТЮРЯ

Не знаю, как вы, а я большой лихвы в красном слове не вижу.

Что из того, что Петр Кирилыч к тому, что и в самом деле с ним, как потом увидим, случилось, немного, может, прибавил, потому что едва ли... едва ль кто поверит рассказу про этих самых русых девок с Дубны и даже в самом лешем Антютике усумнится и заподозреет, что это просто перерядился хитрый мельник Спиридон Емельяныч, чтобы половчее да позанятней сбыть с рук залежалый товар—свою Непромыху, от которой по невзрачности ее у парней садилась вереда на глаза.

Теперь проверить все это трудно... Может, и так, а может, и этак,—ревизию тут не наведешь, а рассказать все, как было, немного привравши,—не великий грех: не человека убить!..

Поди сейчас на Дубну и просиди хоть ради проверки под-ряд десять ночей и пропяль все глаза, как дурак,—все равно ничего не увидишь!..

Теперь уж и мельницы нет и плотины после нее не осталось, от большого леса на берегу торчат только пни да коряги и сам Боровой Плес теперь похож на большой и нескладный мешок с прорехой в том месте, где раньше с запруды вода выгибала крутую лебединую шею.

Только, должно быть, от подводного терема, в котором некогда жила дубенская царевна Дубравна, из воды большие сваи торчат. Али может, и от плотины, хотя вернее, что и не так, потому что лес в воде под песком больно взводист, чист да кругол, таких бревен и в старое время валить на запруду было бы жалко!..

Ну, да много спорить не стоит!..

От плотины так от плотины; теперь все равно этих самых русых девок не встретишь, ихнее время прошло, как пройдет, видно, и наше, а если и услышишь где-нибудь в стороне версты за две кукушку, так не вздумай за нею считать: наврет, непременно наврет, ты за нею со счету собьешься, а тебя, может, как раз где-нибудь по дороге домой и прикокошат!..

Нынче все сроки человечьему житью стали другие, можно сказать, самые неопределенные, и когда тебе придет карачун, и кукушка того даже не знает.

Может, так лучше!..

Так вот с Петром Кирилычем дальше что было: рассказывал все это он сам, а потому остается только поверить, потому что проверить нельзя.

Только бы вот еще, грехом, чего не прибавить!..

☆

Протосковал весь этот день Петр Кирилыч страсть как!..

До самого вечера пролежал он на полати, закрывши глаза. Кругом ни на что глаза не глядят, грязно в избе и неприветливо, как в пустом амбаре. Хоть и не была Мавра грязнухой, но до всего, видно, руки не доходили...

Каждый день уходит она после печки на огороды, ребятня вся с собой, маленький в корзинке под куст, чтоб не бегать каждый час к нему с грудью. А тут на солнышке разоспится, и не разбудить!..

Мавре же только это и нужно: рассада от такого тепла может завиться, надо спешить хоть как-нибудь перевалить землю на испод и оббить ее сбоку лопатой, чтоб люди не осуждали: «Ишь, дескать, Мавра волохон каких напахтала!»

Аким с утра уходил с большой ковригой в кармане и возвращался только к сутеми: взял он подряд у отца Микалая все перепахать и посеять. Своя пашня в лес не убежит, и руки на нее дармовые!..

☆

Когда все из дому ушли, Петр Кирилыч слез с полати, пошнырял немного в залавке: ничего такого, ни яблочника, ни просяничка, одни только засохлые корки, скопленные Маврой корове.

Только кринки стоят все с верхом, по сметан-

ным снимкам морщинки идут, как на первом ледку по ранней зиме. Отпить—будет заметно, один разговор опять заведешь.

«Маленький, что ли? Побойся-ка бога!»—вспомнил Петр Кирилыч, как его недавно Мавра оговорила.—«Ребятишкам мало хватает! Поп-валтрёп, а любит скоп!..»

Потому Петр Кирилыч до молока и не доченулся, а отломил большой ломоть свежей краюхи, густо посолил его, помазал куриным перышком из масленки и с матицы, где висит вязанками над печкою лук, выдрал крайнюю луковицу: лук, как и мужик, любит тепло, в холоду от него такого вкусу не будет!..

Эх, да известна наша мужичья еда!

В обед тюря, а на ужин—мурцовка!

Едал?..

Ну, если не знаешь, что это такое за тюря с мурцовкой, так объяснить, пожалуй, и трудно... то-есть чем отличается мурцовка от тюри... Это то же на то же!..

Тюря—хлеб, крошеный лук, квас вожжей и конопляное масло.

Мурцовка—тот же хлеб и тоже лук, только с водой и без масла.

Варят, правда, и у нас, по пословице, с вершковым наваром серые щи, жарят на сале картошку, инда плавает в нем, как корабли по заливу, томят с кишечными шкварками кашу... но это бывает не круглый год, а больше, почитай, в каждом дому только по осени, когда по первому

снежку пастухи наладят домой и перед домом половину стада на дворах перережут.

В такую пору мужик ходит как именинник, без довольной улыбки мимо бычка не пройдет, по загривку потреплет, по хребту проведет и пощупает у него под пахами: дескать, жирен ты, бычок, али так себе, незадашник?.. Скотина радуется, когда на ножик идет!

К весне же мясо у мужика только во рту!..

☆

Хорошо знал Петр Кирилыч братнин достаток: долго он вертел, лежа на полати, хлебный ломоть, словно хорошенько хотел приноровиться с какого боку ловчее его укусить, а потом почему-то вздохнул и забрал на белые зубы за обе щеки, съел в раз добрую половину и, не доевши, с ломотухой в руках—хлеб в сон клонит, как и вода,—скоро заснул.

Приснилось Петру Кирилычу, что сидит он на берегу дубенского плеса, как барин, против него Боровая мельница и мельницу эту будто получил Петр Кирилыч за дубенской девкой в приданое. Через плотину льется то ли вода, покрытая белою пеной, то ли молоко парное, с такими пузыриками, каким бывает оно перед погодой, и от этих пузыриков во рту даже немного шипит.

Будто сидит Петр Кирилыч у этого молока и макает в нем большим куском белого ситника, и в ситнике этом на мякоти выпеклись ямки и ямки похожи очень на те, какие он видел вчера у Фе-

клуши на круглых и розовых щеках... Привиделись они ему потом, когда она сбросила с себя сарафан и станушку, по всему ее созревшему телу, белому и пышному, как хорошо подошедший и в удачу спеченый кулич.

Проспал так Петр Кирилыч до самого вечера.

☆

К вечеру, когда Мавра вернулась с ребятней с огородов и тут же уложила ребятишек в постель, Петр Кирилыч раскрыл отяжелевшие за денной сон глаза и не сразу понял, как же это вдруг: Мавра...

Мавра же перетирала потималкой ложки, и перед ней на столе были рассыпаны прозрачные перья с луковичной головки.

Долго глядел Петр Кирилыч на них, в животе словно кто за сон дыру провернул. Видно, человек во сне и ситником сыт не бывает.

Пронька, старший сынишка, сидел за столом и глядел в чашку с мурцовкой, как большой. Потом возвратился к сутеми с поповой десятины Аким.

Не скоро Аким рассупонил чуни в углу, сполоснул руки над лоханкой, и когда крестился на образ, Петр Кирилыч хорошо разглядел,—Аким немного, как от тихого ветру, шатался...

— Насилу, видно, бедный устал!—укоризненно сказала Мавра, тоже заметившая это легкое пошатывание Акима и его осунувшееся за день

лицо.—А Петра вон на полати блохи никак не разбудят. Храпит и храпит!..

А Петр Кирилыч и вправду храпел, глаза отводил.

— Не трошь, спит!—сказал Аким и сел к столу за мурцовку.

☆

И не заметил никто из домашних, как слез Петр Кирилыч с полатей и вышел на улицу.

Только когда стали укладываться спать, хватились, что Петра Кирилыча нет.

— Вот ты говори, как провалился!—сказала Мавра, сложивши руки на животе.—Видно, опять под мост ушел!..

— Ты бы, Мавра, немного... того... язык прикусила... а то, видно, ему как нож возле глотки: как-никак, все же брат!

— Ну-к что ж!..

— Вот женится... тогда дело другое!..

— Да на ком?.. Покажи пальчиком... Полно рассусоливать зря: женится, женится! А кто за такого пойдет?.. Верея с изгороди да и та надумается.

— Шут с тобой, Мавра: тебя не переговоришь... Только видишь—на нем лица нету.

— А уж у тебя больно кругло!.. Вот кругло-то! Кругол, как поднос, один только нос!..

— Работа, Мавра... работенка!..

— То-то и я-то про то же про самое!—тихо и боязливо говорит Мавра, показывая Акиму на спящих на полу вповалку детей.

— Знаю, Мавра... Вижу не хуже другого... Как-нибудь...

— Задерешь вот каряжки: что с ними мне делать?..

Аким ничего ей не ответил, повернулся к стене и тут же захрапел.

☆

Мавра ткнулась было в передник, поплакала по бабьей привычке, потом поглядела на прожелтевшие офтоки Акима, из которых, как палки из осохлого горошника, смотрели Акимовы ноги, махнула рукой и стала стелить себе на полу рядом.

«Хоть все плачь! Слеза лица не умоет!»

Легла она на пол, положила под голову руки и тоже заснула.

Изба потонула в зеленом свету от луны, бьет он в окно и сыпит зайчиков по стенам, отражаясь на медном брюхе стоящего в углу самовара.

За печкой чуть чиликнет сверчок, все тонет в захлипистом храпе... Трудно было бы спать мужику после тяжелой работы, если бы не дана была ему свыше эта богатырская повадка храпеть! Вся нечистая сила мужичьего храпу боится больше, чем какого креста, крест сумеет всякий на лоб положить, кто и знать не знает и знать-то не хочет, на чем мужицкий хлеб растет.

Растет он у него на спине.

Зато по ночам вся нечисть и воет в печной трубе, и потому-то ни одна баба на ночь незакрытой печь не оставит... Пусть черная сила тре-

плет на крыше солому, стучит по застрехе крылом,—на мужицкую душу повешен семифунтовый замок и в нее уже не пролезешь...

Один только бес—навной кусает баб по ночам.

От его зубов остаются у них на грудях синие метки.

А бывает это к несчастью...

☆

Сладко спят Мавра с Акимом, крепко спят Акимовы дети... только в углу, где стоит лунный лучок, притулился маленький бесик и чистит себе тонкие лапки... Очажный бес, бес-домосед, на улицу он никогда не выходит, а если случится пожар, так сгорает вместе с избой. Живет он под печкой, где ухваты и клюшки, и похож на ухват, а потому и попадается часто хозяйке под руку вместо ухвата...

Схватит этого беса хозяйка за хвост и не заметит, а он в человечьих руках от испуга разинет рот до ушей, как у ухвата развилки, подхватит хозяйка этими развилками горшок с кашей или со щами чугун и не успеет до огня в печку донесть, как бес немного в бок потулится, потом от жары сильней шевельнется, хозяйка дернет беса за деревянный хвост, думая что поправляет за ручку ухват, а в это-то время замечется красными крыльями огонь по опечью и потянет далеко в трубу, тонко выгнутую красную исчерна шею, обвитую паром, горшок выскочит из бесьих зубов, а хозяйка на всю избу чертыхнет.

В этот день будет драка наверно, и на обед за столом разрядится в луковичные перушки тюря, а на ужин в том же наряде—мурцовка!..

Недаром мужики говорят, что еду эту выдумал бес, чтобы мужик меньше верил в оспода-бога, а сон... считал спокон века вкуснее белого ситника, потому что ест ситник и по сие время только во сне...

БОБЫЛЬЯ ПУСТОШЬ

Прошел Петр Кирилыч задами, боялся, чтоб кто-нибудь не увидел да перед дорогой не сглазил, дошел до сельской изгороди по огородам и долго простоял около нее. Прислонился Петр Кирилыч к изгородной верейке и низко на поворину опустил голову: куда теперь итти и за что теперь приниматься после того, что с ним приключилось?

«Небесная царица, что со мною творится?..»

Вспомнил Петр Кирилыч последний Антютиков наказ постеречь на Дубне.

Авось, на удачу опять выйдет купаться... тут тогда... Самое главное—в рот ворон не ловить!..

Было все вокруг Петра Кирилыча по-вечернему тихо, с Дубны, покачиваясь и клубясь, нехотя на тихом ветру опять плыли завернутые с головою туманы, и за Чертухинским лесом на Красном лежала низко заря, как кумачовый платок на голове у Феклуши.

Все притихло и затаилось, словно спряталось

с глаз. Должно быть, к утру ударит последний холодок на сорокового мученика. Только невдалеке на поляне, расправивши хвост, похожий на лиру, на которой играл царь Давыд до той поры, когда еще не умел слагать псалмов и поститься, на одном месте кружился черныш и чувыкал:

— Чфу-жой!.. чфу-жой!..—выговаривал черныш, а Петр Кирилыч подговаривал:

— Свой!.. свой!.. Болбонь себе... на доброе здоровье!

Потом черныш вдруг привскочил над землей, расправил к земле крылья, зачертил ими сердито и на всю округу заболбонил: «бфл-бул-бул-бул-бул», словно из большой бутыли вода полилась, и за ним на многие версты забормотала сквозь сон сырая весенняя даль.

Заслушался Петр Кирилыч птицу.

Только когда все село потемнело и завернулось в туман, он осмотрелся вокруг, и увидел, что стоит на братнином огороде, где он в прошлом году с Пронькой чучело ставил, чтоб пугало воробьев от гороха. Чучело широко расставило балахонные руки, хочет в темноте поймать Петра Кирилыча, да, видно, со-слепа никак не поймает.

Тыркнул его ногой Петр Кирилыч и перескочил через забор.

☆

Заторопился Петр Кирилыч, заспешил, словно боялся куда опоздать. За небольшой луговиной, где полднюет сельское стадо, шли пустоша, за

пустошами Боровая дорога. Почему-то свернул на них Петр Кирилыч, должно быть, опять побоялся кого-нибудь встретить и навести на ненужные пересуды и толки.

Редко бывает и в наши дни человечья нога на этом месте, не смотри, что стоит возле села... Спокон века растет на нем чахлая ивушка небольшими кустами, издали они словно в бабьих юбках, раздутых ветром по подолу: болотный бредник!

Шумят эти кусты, словно бредят, никогда-то им нету покою!..

И словно на этот докучливый шум прибегли из леса похиленные на-бок убогие елочки, с большими горбами на спине и с загнутыми в сторону ветра вершинками, с ручками, расставленными далеко вперед, ощупью, видно, идут по болоту... но не найти им дороги назад к большому матерому лесу, так и будут всю жизнь расти в боковую ветку, с покорным поклоном суровому зимнему ветру, завязивши в топкой земле корявые лапти, только и дожидаясь поры, когда их подрубит под голень тупой топор бобылихи.

Оттого это место и прозывалось: Бобылья пустошь.

Бобыли из Чертухина рубили на ней безо всякой дележки.

Только мало было охотников, рубили, что поближе к дороге, а подальше—такие места: не вытянешь ноги... Кочки так и запихают в разные стороны. Растут они в этом месте с сотворе-

ния мира и к нашей поре были по самый пуп человеку.

Не любили мужики этого места!..

☆

В эту-то пустошь и вломился Петр Кирилыч, не захотевши итти по дороге.

Так и шумит со всех сторон на него прошлогодняя осока, словно грозится, выставила она с коч колючие усы, и чудится Петру Кирилычу, что у каждой кочки на осочной плеши сидит, завившись кольчиком, змея-медяница и вместе с осокой шипит на него и тянет к нему желтое жало.

Почти на самой середине пустоши Петр Кирилыч остановился и перевел дух.

Ощупал он ногой высокую кочку, нет ли змеи, присел на нее и стал с лица и шеи вытирать пот полою рубахи. Рукой подать, кажется, до матерого леса, а еще итти—конца края не будет болоту, и кусты дальше грудятся и сбиваются в кучи и словно кого подолами прикрывают—распушились ветками книзу.

«Ну, и место... чортово тесто!..»

Только это Петр Кирилыч сказал или подумал, как опять, как и тогда, под окном у Ульяны, крепко кто-то сзади его обхватил, и не успел Петр Кирилыч назад обернуться и ахнуть, как почувствовал у себя на щеке знойную щеку и у губ рот, тухлый, как куриный болтун.

— Князь мой ненаглядный!.. Петр мой Кирилыч!..

У Петра Кирилыча мураши по коже побежали.

«Тетка Ульяна?.. Откуда ее?..»

Со всех сил рванулся Петр Кирилыч в сторону и повалился меж коч. Видит из-за кочки: Ульяна стоит как ни в чем не бывало и чуть заметно улыбается на него...

— Ты долго будешь... шутить, тетка Ульяна?— тихо спросил Петр Кирилыч, приподнявшись с земли.

— Окстись, Петр Кирилыч, мне не до шуток... вот ведь где встретиться довелось! Ну, да я-то и рада.

— Зато мне радости мало.

— Чтой-то, Петр мой Кирилыч?.. С чего же?..

— Эй, Ульяна, не будет добра!..

Петр Кирилыч присел на кочку против Ульяны. Ульяна положила возле себя на кочку беремя и к Петру Кирилычу подвинулась ближе.

— От добра, Петр мой Кирилыч, добра не ищут... Как уж там хочешь, а свое я возьму... потому распалилась!..

— У... погань!..

— Не погань, Петр мой Кирилыч,—кабы лопать самому не пришлось! Лучше меня ведь все равно на всем свете никого не сыщешь!..

— Это тебе, дуре, кажется с тюри!..

— То-то и дело, что тюрю в глаза не вижу... Не гляди, что бобылка: я такая стряпуха!..

— Была бы курочка, сварит и дурочка!..

— Вот уж не так, так не эдак... Ты вот из житной муки ситный спеки!..

— Спечешь оклякыш, поешь—заплакашь!..

— Да уж знаю: балакирь!.. Оттого и глаза на тебя повесила... Давай, Петр мой Кирилыч, решать дело по-хорошему!..

— Я от хороштва, тетка Ульяна, не прочь... Отстань от мене, и только делов: ты—в гости, а я—домой!..

— Мой, Петр мой Кирилыч, мой!.. Всю жизнь будешь есть один только ситник... Знаешь, ситник кто ест?..

— Нет уж, не знаю, а врать не хочу.

— Ангелы божьи на небе да бары!

— Ну, и пускай их жрут на здоровье... Намажь ты себя медом и то... Ульяна... разве, что... с пьяна!

— Подожди... подожди!

— У-у... я, у-у-х!.. проклятущая!..

Петр Кирилыч схватил сушину и замахнулся ею на тетку Ульяну, хотел было ударить с размаху, но Ульяна вскочила на вязанку с сучками, свистнула на весь чертухинский лес, сучки в береме зашевелились, полез из беремя сперва лошадиный хвост, потом задние ноги и круп, потом, словно темь, закурчавилась вороная грива, и вмиг перед Петром Кирилычем взвилась на дыбы большая черная лошадь с большим черным пушистым хвостом до щиколоток, и на хребте у нее, не держась, уже сидел самый заправский гусар, в залихватской шапке с плюмажем, с саблей на боку,

каких Петр Кирилыч видел у мирского попа на картинке.

— Прощай, балакирь!.. Помни про ситник и тетку Ульяну!..

☆

Заколыхалась осока перед Петром Кирилычем, и самого его понесло поверх ее колючих усов. Вот уже настороженно выстроился за пустошью лес, темный он и торжественно-строгий, как століверский поп с дарами в руках; на еловых макушках четко обозначились крестики, и над каждым крестом горит большая звезда.

Петр Кирилыч вытер пот полою рубахи и, перекрестившись, вошел в темный, пахнущий еловыми шишками ельник.

Г Л А В А П Я Т А Я

КОРЧАЖНЫЙ ЗВОН

ТРИ ВЕНЦА

Вернее всего, ты не знаешь, что мужики в избе называют венцом?..

По всему, это прозвание пошло с того незапамятного срока, когда первый мужик вздумал перебраться из землянки в избу, выбрал себе в лесу попрямее сосну и начал ее строгать и фуганить!

Венцом он назвал каждый ряд бревен в домовой стене, или, по-нашему, в срубе, хоть ли в лапу, хоть ли с углом!..

И так ему хорошо показалось в первой избе после пещеры, что и впрямь иначе нельзя было сказать: мужик стал жить в сосновых венцах, стал хозяин, рачитель и скопидом!

Воля, звездный венец остались попрежнему дереву, зверю и птице!..

☆

Неспроста Спиридон Емельяныч выговорил у барина условие, чтобы тот поднял ему мельничную избу еще на три венца.

Спиридон был такой человек,—ни одного слова у него зазря не проходило: сказал—отрубил!.. Значит, и надо!..

Надо было Спиридону ухоронить от попов свою веру.

Может, потому только и поменял Спиридон Емельяныч барину медведицу (али двух медвежат: бог его знает!) и дал книгу в придачу: дело было совсем не в мельнице, а в этих самых венцах!

Подъизбица нужна была Спиридону хорошая да такая, чтобы не было никому заметно. В деревне лишний ряд бревен в избу положишь, и уже разговор!

В подъизбицу известно: мужики убирают картошку, чтоб ее в зиму не портил мороз. Спиридон же придумал туда своего бога запрятать... самому обедню служить и попить... потому мужиков ни на одной иконе в святых не найдешь, мужики все в ад пойдут, для того и лапти носят, а... Спиридону в ад не... хотелось!..

Кому же святым не хочется быть?..

С крайку, да в райку!

Обзавелся тайно Спиридон Емельяныч всей поповской срядой еще гораздо заранЬше, да не приходилось ему ею пользоваться.

А тут с этими медведями как раз устроилось все как нельзя лучше.

В скорости как был барин у Спиридона, Спиридон переехал на мельницу. Мельница была благоустроена, на полном ходу, все в полной точности, только сам дела не порть, канители с ней в эту

пору большой не было, один только бачуринский помол, потому Спиридон с первого же дня, благо чужого глаза нет, принялся за молельню.

☆

Выстругал он в подполе почище сосновые доски, потолок, то-есть по исподу домовый пол, обил свежим тесом, в оконца, куда кот головы не просунет, вставил синие стекла, и завесил их темной дерюжкой, а икон этих навешал разных на стены: курочке клюнуть негде! Большие и маленькие, в окладах серебряных и золотых, и так которые голенькие, без ничего, одна доска и на доске лик. Накопил их Спиридон за торговлю дегтем и маслом такую уйму,—в два сундука еле влезли.

— Ишь, у Спиридона добрища-то што!—говорили гусенцы, провожая Спиридона глазами до самых ворот, когда он перебирался на мельницу жить.—Сундуки-то какие знатные: телега войдет!..

Зато, бывало, как едет с развоза, так уж непременно что-нибудь такое везет. Все искал: не попадется ли где такая икона, на коей был бы изображен святой мужик Иван в полном его нескладном виде, в армяке и в офтоках, с вожжами в руках, и перед ним в похиленной на-бок сохе достает головой землю сивая лошадь, и у лошади на стороны ветер гриву раздул...

Все святые были у Спиридона, какому хочешь, тому и помолись... Не было только одного, но сколько его Спиридон ни искал—не нашел!

☆

Все же Спиридон Емельяныч, видимо, этой меной был очень доволен. С помольцами стал ласков и разговорчив, отпустит иной раз такую дулю, что другому еще и не выдумать да и постесняется, прибаутошник такой стал, глаза, значит, замазывал...

Мужики дивились такой перемене:

— Спиридон-то... совсем другой человек: говорит! Что значит!..

Мужики при этом подмигивали, как будто и в самом деле знали настоящую причину такой перемены.

Попил так Спиридон немалое время. Подросли девки, с мельницей сжился Спиридон, как с хорошей женой, и почти никуда с нее не отлучался... разве что по грибы, да и то недалеко!..

Да и грибы-то под носом росли...

На чердаке потом даже пристроил корчагу,— большая такая осталась после Устиньи, угли она в нее из печки катала,—привесил ее в самом верху на стропиле, в корчаге замест языка болталась мутовка и от мутовки веревка. Спиридон в большие праздники, когда никого не случалось на мельнице и в колесе примолкала вода, в эту корчагу... звонил. Неважный был звон, но казался он Спиридон Емельянычу слаще всех голосов на земле: ни в одном монастыре он не слышал такого густого, как бы из самой утробы земной идущего звука. Урчит на весь чердак большая

корчага, отдается в каждом уголке дубовая мутовка, звонит-звонит Спиридон и под собой земли не слышит!

Словно уж и крыши нет для него, над головой седьмое небо висит, с неба Христос ножки свесил, улыбается Спиридону, около него стоит в синем плате мать-богородица, держит его за ручку, будто боится, чтобы сынок не упал; кружатся у сыновних ног ласточки стаями, режут вкось и вкривь мимо быстрые стрижи, горят ниже монастырские и скитские кресты... Весь мир перед Спиридоном, как на ладонке, все, что видел за свои скитанья по белому свету, где когда побывал, где что прознал вдруг воскресает перед глазами, и сходится к нему в одно место: и скиты, и монастыри, синие моря и белые горы, и даже сама гора-Афон теперь будто сошла с места и встала посреди чертухинского леса, как крепкую грудь, напружив над ним висячий обрыв, с которого некогда Спиридон Емельяныч тайком богу молился.

Весь мир для Спиридона обращался в радостный клир... поутру риза... заря... ввечеру заря... риза!..

Хороша была риза у Спиридона—вся в узорах, в райских цветах,—целый возок с дегтем и маслом Спиридон в свое время на эту ризу ухлопал!..

Спуталось все в душе Спиридона, и если б кто в такую минуту застал его на чердаке с веревкой в руке от корчаги, легко могло бы случиться,

что такого дозорщика Спиридон на ней... удавил или зашиб бы мутовкой: страшился Спиридон потерять свое счастье!

☆

Но снова помрачнел Спиридон, и еще суровее сошлись у него над носом пушистые, как волчьи хвосты, брови, когда созрели девки и к Феколке стали гурьбой свататься женихи.

Потому и тянул Спиридон с выгодным ему сватовством Авдотьина сына Митрия Семеныча: боялся старик, как бы, помимо его, с дочерьми кто-нибудь еще не пронюхал, куда Спиридон Емельяныч на зиму убирает картошку.

Ты наденешь ризу, а попы те напялят арестантский халат!

Но с Митрием Семенычем обтакалось.

Жалко было Спиридону расставаться с Феколкой, больно было хорошо на нее смотреть, когда она подходила в конце обедни к кресту, в голубом своем сарафане, с колокольчиками по подолу, светло у Феколки светились на Спиридона глаза, самому ему от этих Феколкиных глаз становилось в глазах светлее, но нечего делать: не в прок девок копить! Не огурцы!..

Самое ж главное: человек как-никак свойский, по старому все же закону, хотя не совсем, а с другой стороны, по деревне еще не устроен, живет пока на чужине и потому на глазах много болтаться не будет. По дому же и по мельнице хватит и Маши. Тяжелую работу справлял всю

сам Спиридон: лих был человек на работу, другому с каким делом надо бы день провозиться, а ему и упряжки много.

☆

В этой самой подъизбице и помолился Спиридон Емельяныч последний раз перед дорогой с Феклушей, когда она разбудила его поутру.

Сам он вставать, видимо, и не думал: спал, как опоенный!

Феклуша долго сперва не решалась тревожить отца: первый случай, что Спиридон солнышко пропустил. Несколько раз она подходила к отцу, спит и спит, разинувши рот, и борода вся кверху торчком, горшок уронила как бы невзначай с залавка, думала, может, проснется, громыхнула самоварной трубой, а ни отец, ни сестра и не думали просыпаться.

«Чтой-то такое?»—дивилась Феклуша.

Подошла она к изголовью и дотронулась чуть-чуть до плеча Спиридона рукой:

— Батюшка!..

Спиридон так и вскочил, словно его холодной водой обдали.

— О... заспался... боговнику нанюхался!

— Чтой-то, батюшка, тебя никак не разбудишь?

— С самого вечера словно кто, Феклуша, налил в ноги свинцу... Это все боговник проклятущий!

«Как же это выходит так?»—думает Феклуша.

— Ты, батюшка, ночью до ветру... али еще куда... не выходил?..—спрашивает она осторожно отца.

— Говорю: спал без задних ног!—улыбается в бороду Спиридон.—А... что?

— Да так... должно, мне почудилось!

— Почудиться может... на то и ночь-матушка,—сказал спокойно Спиридон Емельяныч, но так поглядел на Феклушу, что она отвернулась и против воли своей покраснела.

Вздрогнула Феклуша от этого взгляда, но рассказать обо всем не решилась.

— Значит, то ли приснилось... то ли...

— Машь-то спит?—прервал ее Спиридон.

— Спит, батюшка. Будить?—спросила она тихим голосом.

— Неужли ж все дрыхнет?.. Буди, буди... да скорее, слышь: эн Петр Еремеич въехал на двор. Живо буди!

— Пусть бы, батюшка, до самовара еще поспала.

— Буди, тебе говорят. Еремеичу скажи, чтоб обождал. Пусть лошадей обиходит. Дескать, сряжаемся, Еремеич, обождь маленько... Хотя пугаться его очень-то нечего...

— Слушаю, батюшка!

Пошла Феклуша на другую половину и невольно улыбнулась, когда отворила дверь в горницу, где спала Маша.

МАШИНЫ ТАРАКАНЫ

В горнице было темно: окно заросло со двора кустами, яблони в небольшом саду на задворках подошли к самой стене, густо прислонились к ней ветками, на окне прозрачная занавеска висит, и в углу у иконы пречистой девы чуть-чуть лампадка теплится. Дом по лицу кажется маленький, а как войдешь в него—сколько комнат больших и комнатушек. Не любили раньше форс чужим людям под нос пускать без толку!..

Маша спала враскидку, и на щеках у нее горел непривычный румянец. Странно было видеть этот румянец у Маши: всегда она бледная, испитая, серая, словно испугана на-смерть с самой колыбели.

«Как копеечная свечка горит!»—подумала Феклуша.

— Маша!—тихо прошептала она, наклонившись вплотную к сестре.

— Ой!—в полусне повернулась Маша.

— Вставай, сестринька! Батюшка велел!

— Штой-та?—протянула Маша, раскрывши глаза.

— Батюшка велел подыматься.

Маша вскочила на постели и торопливо стала натягивать на себя станушку. Станушка съехала с нее за неспокойный сон, как на палке от ветру.

— Феклинька! Как теперь я останусь?—заговорила Маша, придя в себя.—Сны мне снятся

больно страшные: все будто меня сватают да венчают кажинную ночь...

— Сон, сестрица... хороший!..

— ... а ни гостей, ни жениха не вижу. Одни, Феклинька, монахи кругом...

— Монахи снятся к... удаче. Попы—те больше к греху и убытку!

— Потом как запоют, так и монахов сразу не будет, а поползут на меня тараканы... Я кричать, а они все ползут, и все больше... да все чернее... Чернущие таки!.. Страшнущие таки!

— Ну, Маша, полно: черные тараканы снятся к богатству. Вот если русаки—те к несчастью...

— Нет, видно, у меня все тараканы... к несчастью. Чувствую, Феклинька, под крылушком... вот тут... что-то вроде как должно непременно со мною тако-ое случиться...

— Полно, Маша, надумывать на себя разную всячину. Ну что в лесу с тобою случится?..

— Скушно мне, Феклуша!.. Убогая я... Зато на тебя посмотреть, и самой легче будет!—Маша положила голову на коленки и за колени схватилась руками.—Лучше тебя, Феклуша, нет никого!

— Полно, Маша, убиваться, ничего не видя... Ты бы лучше от худобы что поискала...

— Болесть у меня утробная: ее ничем не возьмешь!

— Вот, говорят, речная вода в луну помогает... Работу поменьше ломи... парься пожарче!..

— Девки!—раздался грудной окрик Спиридон Емельяныча из передней избы, и обе сестры испу-

ганно заторопились: никогда Спиридон особенно их не строжил, а страх на них шел от каждого его взгляда и слова неизъяснимый.

Маша тут же выбегла в сени и наскоро сполоснулась водой, прибрала косу под платок, и обе они после недолгой Машиной сряды пошли к западне,—как во всякой избе была она между залавком и печью, такая дыра в квадратный аршин, закрытая крышкой, через нее ходят в подъизбицу.

☆

«Эх, и подъизбица у Спиридона,—думал Петр Еремеич, охаживая лошадей: отвязал язык большому колокольцу перед дорогой, поправил гужи на хомутах, похожие на сильные руки, согнутые в локтях, седелки оправил и переложил нужной стороной потнички.—На три венца больше, чем у меня... Зато картошка, небось, хороша. Дух она просторный любит... и убрать можно побольше!»

В это время на крыльцо вышла Феклуша в голубом сарафане, с пунцовой лентой в косе, а по голове в черной шаленке, видно, что перед дорогой срядилась богу молиться. Махнула она Петру Еремеичу и звонко на весь двор прокричала:

— Еремеич, обождь Христа-ради маленько у лошадей. Поспеет самовар, я тебя крикну!

— Добро, добро, Фекла Спиридоновна!—ответил Петр Еремеич и встал взад к кибитке, потихоньку сплевывая по сторонам и перекладывая ножку на ножку.

Красивый мужик был Петр Еремеич!

Только жена у него Аксинья, не тем будь помянута, такая была злющая баба, никогда ее солнцем не грело!

☆

Славно повалил туман с дубенского берега!.. Не видать сразу ворот, от мельничьего дома и звания никакого не осталось, только крыльцо сбоку чуть голубеет сквозь туман, как седьмое небо, да с чердака, на котором высоко занесся железный конек, то ли голуби так по-особому перед теплой погодой воркуют на застрехе, то ли еще что, Петр Еремеич не может хорошо разобрать, а пойти посмотреть поближе не в обычае Петра Еремеича, потому сказано: кликнут!

«Ну, как на Машку в станушке наскочишь... сядет веред в дорогу! Бог с ним... пусть оно!..»— кивнул Петр Еремеич в сторону странного гула и отвернулся к воротам: высоко перед ним закинула оглобли телега, словно тоже молится богу, а индюк попрежнему кружится возле телеги, еще пуще надувшись каждым пером и разложивши хвост на самую землю, и на телеге так же лениво пощипывает перья индюшка, в тумане она на орлицу больше смахивает, а индюк... на орла.

БОЖЬЯ СТАРУШКА

Подарила Феклуша сестре при расставаньи свой голубой сарафан, потому что поехала по-городскому, и Маша долго проплакала навзрыд у во-

рот, припавши к ним головою. Спиридон рядом стоял, глядел на середину плеса, поглаживал бороду, изредка взглядывая строго на Машу, и, видно, тоже был мало чем доволен.

Когда же замолк за березовой рощей большой колоколец, он подошел к Маше и силком оторвал ее от воротной колоды.

— Будет, Машух... Глаза так выльешь: Москва слезам не верит!

Пришла Маша сразу в себя от строгого голоса отца и от его насмешливых слов. На лице Спиридона так и плавал, кажется, ладанный туман... Немудрено: прокоптел человек!

— Работа не волк, в лес не убежит... а надо... надо работать. Я те там мешков натаскал, подсыпай только!

— Спасиба, батюшка,—покорно ответила Маша и вытерла подолом последние слезы.

Маша пошла на мельницу, а Спиридон... отбирать картошку.

Работенка была у Маши пыльная, хотя и не тяжелая: надо было все время стоять с большим совком и подсыпать в воронку зерно из мешков, а остальное уж само все делалось: из жерновов торчал язычок, и с язычка в большой приемник бежала тонкой струйкой мука. На жерновах Маша стояла, значит, по мельничному делу, засыпкой.

Круглый год мололи бачуринский хлеб, окромя зерна мужиков. Столько барин добра за год переведет, кажись, жернова все зубы источат. Скупал Бачурин зерном у мужиков по осени, а вес-

ной им же мукой продавал. Везли ему со всей округи, кто по нужде, кто по корысти—ворованное также принимал.

«Руки с ногой никто не оставил... эко дело: украл!»

Потому мельница у Спиридона молола, почитай, круглый год, не было недохватку в работе, разве только в большие морозы, когда холод к берегу воду прижмет—и она в корыто с русла бежать перестанет; тогда мельничное колесо обрастет все сосульками и долгое время стоит недвижимо, мельница по утрам вся подернется инеем и издали станет похожа на колесницу, на которой Илья выезжает в первую весеннюю грозу из-за чертухинского леса на небо.

Находил, значит, Бачурин, немалую выгоду.

Зато, как хватит тепло, отындивеет колесо—и пошла писать до нового хлеба без останову.

Спиридон Емельяныч с утра уставит камни на мелкий размол, наворочает мешков и рассадит их вокруг Маши, как женихов, а сам в подъизбицу. Если же кто приедет из мужиков на помол да спросит:

— Сам-то, дескать, где же? Чтой-то глаз не покажет?

Маша только улыбнется:

— В подъизбице картошку отбират! Коли нужно что—крикну!

Так круглый год и отбирал Спиридон Емельяныч картошку. Когда кто ни приедет, все отбирает!

«Откуда это у Спиридона столько картохлю?»— дивились мужики, но заподозреть что-нибудь такое в голову никому не приходило.

☆

Закружилась Маша за сегодняшний день и так еще никогда не уставала. Сила у Маши была вся в кости, работала за мужика, у печки и по мельнице, а с роду-родов никогда не хворала: зато и была такая сухня!

Заперла Маша воду в корыте, сосчитала мешки, перекрестилась и хотела было уже на выход итти, да, повернувшись, так и осталась: в широко раскрытую дверь входила старушка, вся с ноготок, улыбалась Маше, как давно знакомая, и за ней сразу в двери стало темнее, а вдали зарозовело, и от берез легла до мельницы тень. Вечерняя дымка кружилась у нее под ногами, и всю ее кутала болотная дремная хмарь.

— Бог помогай, девонька... Поможи тебе боже, красавица!

— Спаси Христос, баушка!

— А шла я мимо да думаю: дай зайду, навещу,—говорит старушка, тыкая перед собой палкой и подходя неторопливо к мешкам.—Бог поможи!.. Доброго тебе добра, трудолюбица!

— Спаси Христос, баунька. Ты же откуда?.. Откеда идешь, говорю?—повторила Маша, видя, что старуха приставила сохлую ручку к ушам.

— Дальная, матушка... ты моя, дальная!..

«Должно, нищенка»,—подумала про себя Маша.

Старушка села возле Маши на мешок и охнула.

— Дальная... дальная... с самого села Горы-Понивицы...

— Горы-Понивицы?..

— Несь, такого села и не слышала?..

— У нас мать понивинская... Ты ее не знавала?..

— Ну, вот еще, как же Устинью не знать!.. Бывало, в девках в одном хороводе за руки ходили... только я постарше немного...

— Постарше? Так сколько же тебе годов?

— Сколько годов, столько рублев... как за восьмой десяток перевалило, так и со счету сбилась... А ты мать-то помнишь ли?..

— Сироты мы...

— Лядавая баба была, не сплошь тебя, не тем будь помянута, легкое ей лежание... Сиротинка ты моя круглая, как яичко петое!—запела старушка, приложивши ручку к морщинистой щечке и глядя умильно на Машу, словно плакать над Машей собиралась.

— Какая ты, баунька... жалостливая...Сама, несь, нищим куском побираешься, а меня вот жалеешь...

— Коли нечем куснуть, весь свет пожалеешь, девонька... Я, вишь ли, травы собираю... травы разные... от запора, от худобы, от лихвы человечьей, благо делать неча!

— Травы?..

— Самые травы, девонька... Тебе какой травки не надобится ли?.. Гляжу на тебя, больна лядава ты да худа, в лице ни кровинки, как навной

выпил, грудь воры украли, не туда попали... Несь, так на людей не выйдешь!

— Да я уж, баушка... завековала...

— Что ты!.. Что ты!.. Мало что кукушка накукует... Я тебе травки дам,—шопотком, пригнувшись к Маше, говорит старушка.

— Помогнёт?..

Старуха моргает хитро глазками и словно не расслышит.

— Травы-то твои, говорю, помогнут ли?..

— Ну вот еще что сказала... Глаза ты мне выплюнь... Только замужним она, трава, в пользу больше идет. Как обкрутишься, так в первую ночь и глотни, ряднина на грудях лопнет, надуешься сразу...

— Ужли?

— Как опара из квашни вылезешь!

— Дай, баушка, травки!

— Дать-то я тебе дам... за тем и зашла... только надо с ней, с травой, уметь обходиться... Во-первые, бесприменно никому не говорить: трава другого глаза боится!

— Ни-ни, баушка, что ты!..

— Особливо отцу: он на такие штуки вредный человек! Вякнешь ему по простоте—и... вся сила в траве пропадет!

— Язык прикушу! Родимая, дай!

— А как же: третевысь гляжу на тебя на базаре—уж и худа же ты девка... щипнуть не за что!

— Только... по́мочь-то будет?..—шопотком говорит Маша старушке, забывши про ее глухоту.

— А ты обойдись с ней как следует быть... Ты вот дома все сидишь, как на привязи: от такой жизни большого проку не будет... ты бы на деревню сходила...

— Не примут...

— Ну, по речке бы прошлась... особливо под вечер... скупалась, где месяц почище светит... Вода—она в крепость идет человеку! И поспишь с воды, как меду полижешь...

— Ох, баушка, про воду ты говоришь... меня люди и так зовут: Непромыха!

— Назовут: хуже ножа проткнут!

— Да и не до гульбы мне, баушка: каждый день так умаешься... только сном и отходишь...

— Человек во сне зря время теряет... Говоришь ты, слушаю я, все не дело. Слушай, я расскажу тебе одну такую историю...—Старушка показала на дверь и она еще шире раздалась у Маши в глазах. Маша уставилась во все глаза: за крайней березой у самого дома поднялся месяц с земли и поплыл, лицом немного на-бок... к Дубне, словно горюет о чем, а губы у него толстые, добрые, и из губ на сторону свесился немного язык.

— Ты вот про этого мужика знаешь?..

— Что ты, баушка... это же месяц!

— Месяц-то месяц... а кто на ём нарисован? Вишь, как языком дразнится... Несь, еще не слыхивала?..

— Где ж у нас тут слышать: в лесу одни ведмеди ревут, да и леший будто тоже чудит, хотя сама-то я... не попадала ни разу...

— Болтают... Ну, так слушай: это—Ленивый Мужик!

— А ну, баушка, расскажи!—оживилась Маша.— Прибауточница какая!

Маша придвинулась к старушке и положила голову на руку, заглядывая с улыбкой старухе в глаза—так слушать интересней. Старушка поправила подол на калишках, в искосок повернулась к Маше, тонкие губы сделала бантиком и начала нараспев, покачиваясь своей куриной головкой; месяц словно застыл, остановился в березовых сучьях. Да он и всегда так: заметно для глаза, как возле земли спешит над лесом скорей подняться, а как заберется повыше, так и повиснет.

ИВАН ЛЕНИВЫЙ

Ну, так и вот.

Жил это в нашем селе Горы-Понивицы не знамо сколько лет тому назад будет, когда, может, и села-то никакого не было, а была на этом месте в вожжу длиной деревушка о трех дымках, о четырех домках, так и жил в этом самом селе мужик с самого краю по имени будет Иван, по прозвищу будет Ленивый...

Родила его, вишь, мать сонная, в самую светлую утреню опросталась... Ну, и выдался: мужик

не мужик, а на печке лежит, ничего не делает, только пьет чай да обедает...

Большой мужичина отъелся!

На кулаки страшно взглянуть, в горсть полмеры ржи войдет, на ноги лаптей на базаре не подберешь, а уж на голову — ни один картузник не брался...

А жил этот Иван—сыр в масле катался.

Только проснется, свет в избу ударит:

— Жена,—кричит,—ставь самовар!

А баба была у него страх работящая, не сплошь тебя: кожа да кости, а на руки складная и проворная, терпугом ее смургай, ни слова не скажет,—по полю и по дому все одна управляла, от других не отставала, а если кто и спросит про мужа не из жалости какой, а больше подкольнуть да подтырить, так только и скажет:

— Бог дал!

— Самовар!—кричит Иван. Земля под ним от силищи ходит...

Ну, самовар так самовар, как ослушаться мужнина слова... Тут бы, глядишь, с работы немного вздохнуть, а мужик знать ничего не хочет.

А то голову только повернет, если узнает, что праздник какой, а сам так и лежит на пригретом боку.

— Баба,—кричит, земля трясется,—баба, давай водки, седни осподний праздник!

Ну, бабе, конечно, надо бы в церковь итти, на клирос свечку поставить, а... тут в шинок беги.

Так ведь всю жизнь и промаялась бедная.

Только в одночасье проснулся Иван и так-то ему жарко показалось, глядит: изба как будто та же, его самая собственная, только дух такой по избе паленый, из печки свежими хлебами не пахнет, гарь стоит синим волокном на полу...

«Жена, должно, дура, трубу рано закрыла»,— подумал Иван, зевнул во всю скулу и в потолок плюнул.

Поглядел Иван на пол, на полу горячие уголья ворохом лежат, и на угольях сковородка дымит— на ней жена ему яичницу толкала. Только возле сковородки, теперь, видимо, чорт сидит, спиной к Ивану, и хвост из-под него в полизбы, как пастуший кнут, вьется.

— Жена,—кричит, земля под ним ходит,—жена, такая разэдакая, ставь самовар поскорее! Смотри, сколько угольев у тебя зря пропадает.

Повернулся к нему чорт, сковородку ему подает, говорит:

— Здрассте!

— Самовар!—еще пуще кричит Иван.

— Какой такой еще тебе самовар?—говорит чорт.—Позвольте вас спросить, Иван Иваныч, что вы за паныч?..

Мужик ничего сначала—не струсил.

— Угольев у нас,—говорит ему опять чорт,— угольев, верно, хоть отбавляй, только... самовара тебе ставить некому.

— Как некому?—спрашивает Иван, сам трясется.—А жена у меня на что такое мне дадена?..

— Жену твою ангелы... на небо живьем ута-

щили... За правильную свою жизнь в рай пошла... а ты вот, грешная твоя ленивая душа, садись-ка на сковородку: я те немного пятки поджарю.

«Вота!»—дивится Маша и взглянула на месяц. Показалось ей, что он вот-вот на землю уронит язык: такой он у него вытянулся длинный и в березе полощется.

... Ну, и вот... взмолился мужик, подумал малость и говорит чорту:

— Что ж,—говорит,—что ж, что я всю жизнь мою на печке проспал... я,—говорит,—худого этим никому ничего не сотворил, разве только вот по моей милости баба моя в рай попала, а я сам в кромешную угодил... Может, из-за этого послабление какое будет?

Видит Иван: сидит у него над самой головой на белом облачке жена его богоданная, ножки словно в речку свесила и сама в белый платочек по нем плачет:

— Выручи,—говорит она кромешному,—сделай такую божескую милость!

Побежал кромешный к главному их, Варфуилу, а Варфуил в самой что ни на есть преисподней на золотом стуле сидит, трубку раскуривает, и дым от него идет, как из кузницы.

— Что тебе?—спрашивает сердито Варфуил.

— Жена за Ленивого послабления просит!—отвечает кромешный.

Ковырнул Варфуил пальцем в трубке, подумал немного и говорит:

— Верно,—говорит,—мужику надо дать посла-

бление... и так, в раю спокон веков ни одного мужика еще не было... И такое распоряжение: и не будет! Потому: в лаптях ходят!

— Правильно!—поддакивает кромешный, руки по швам.

— Ну, по нашему распорядку отпустить совсем его мы не можем, а проветриваться на вольный дух пускать каждый день с вечера до утра, если захочет, так оченно даже можно...

— Правильно!—поддакивает кромешный, руки по швам.

— Оторви-ка ему башку, все равно ни к чему она у него, так больше ради прилику болтается, да выкати ее за ворота: пусть блудливых баб стережет да на мужиков, дураков, дразнится.

— Слушаю, отец Варфуил!—говорит кромешный, руки по швам.

Побежал он из преисподней и сделал что надо, оторвал Ивану башку и выкатил ее за ворота... Ну вот, с той поры и катится Иванова голова по небу, а куда она, матушка, катится, нашему брату это ведать не дадено.

— Ну, и складчица, ты, баушка,—передохнула глубоко Маша.

— Что ты... что ты... это не складка, а... быль... в нашем селе Горы-Понивицы все и случилось... Только, вишь, какой грех на сонном человеке оказался!

— А мне, баушка, и сейчас спать хочется...— сказала Маша, потянувшись кверху руками.

— Поди... поди, девонька... Это ведь я тебе

для того наплела, чтобы ты замуж не ходила за Иванова внука... если неравно он к тебе свататься будет.

— Скажешь еще!..

— Вот тебе корешок... на крестик повесь, до время не тронь, и будет срок: баранью шубу подаришь!.. Прости-ка пока!

Взяла Маша корешок, стала его разглядывать: так, болотная травка какая-нибудь и пахнет боговником, от него дурман только в голову идет.

— Ты бы, баушка, ночевать у нас осталась,— спохватилась Маша.

— И-и, девонька... я и в лесу хорошо заночую: отца твоего больно боюсь,—шамкнула старушка из двери.—Зайду... зайду, красавица.

Смотрит Маша на выход, а там уж никакой старухи нет, а стоит в двери корова Доёнка, просунувши в нее свою лысатую голову, и мотает ею, словно здоровается. Подошла к ней Маша, погладила ее по загривку, за ухом ей почесала. Доёнка лизнула Машу по рукаву.

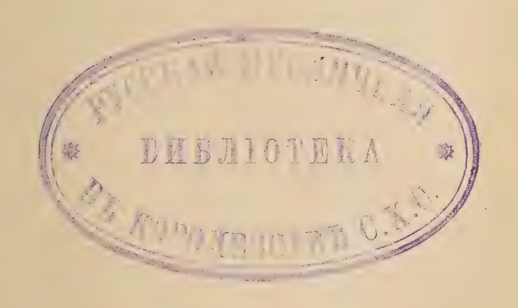
Маша заглянула за угол: нет никого.

«Вот божия старица!..»

Только Дубна дымится и туман плывет, завиваясь на кончике кольцами, как тетеревиные хвосты на току, и у самого князька отцовского дома со скорбью, удивленьем и страхом катится Иванова голова, слушает, пригнувшись к князьку и заглядывая в маленькое окошко на чердаке, откуда это идет такой звон, да, видно, догадаться не может.

Г Л А В А Ш Е С Т А Я

НЕПРОМЫХА



ЗАЯЧИЙ ПРАЗДНИК

Вошел Петр Кирилыч в большой ельник и всей грудью передохнул после бобыльей зыбе́ли. В лесу тихо и черно-зелено, в ветках только кой-где качнется на остром лучике большая мохнатая звезда. Хорошо было после коряг и колючей осоки чуять под ногой упругий мошок,—теплый он и лежит, как пуховая подушка, взбитая хорошо перед сном; пройдет по ней зверь и за собой следа не оставит.

Петр Кирилыч сторожко ступает по мшистой подушке, держит левую руку перед глазами, чтоб не напороться на сук и глубоко в себе затаил дыханье. Но в лесу прокружишь, как кот за хвостом. Думал выйти Петр Кирилыч на Боровую, а вышел на прогалину, которых в чертухинском лесу было, как окон в светлой избе... В лицо так и забил свежими побегами молодой ельник, кольцом он закрывал со всех сторон небольшую поляну и словно от посторонних глаз сторожил.

Пробрался Петр Кирилыч сквозь колкую заросль,— захотелось ему посидеть на полянке: ме-

сяц на них больно хорошо светит,—но раскрыл на выходе из молодняка последние ветки и дальше итти не решился...

☆

По всей поляне рассыпан месячный свет, и вся она играет и переливается тысячью разноцветных огней, горят в траве драгоценные камни, каким нет цены и каких нет ни в одном магазине, потому... мимо них пройдет человек и не заметит, а если нагнется да вздумает поднять какой покрупнее, в руки без тайного слова он не даётся!.. Потому все в мире человека боится... тронешь ветку ногой и с нее покатится... град, только на бисер и жемчуг... похожий!..

Затаил еще пуще дух Петр Кирилыч: по самой середке поляны стоит, как нарисованный на картинке, пенек, должно быть, после старой березы...

Белеет пенек берестой, возле пенька стоит небольшая березка, худенькая она и пугливая, да и растут так посереди прогалин больше березы...

Словно зайдет в гости да назад на опушку сквозь еловую гущу потеряет дорогу и стоит на ней, пока не вырастит внучку.

Глядит Петр Кирилыч: на пеньке пушная мохнатая шапка, наушники с шапки сбоку висят, завязаны они, как в стужу у мужиков, под подбородок, под шапкой горят зеленым немигающим светом гнилушки, а на шапке, на самом затылке, сидят рядом в обнимку два зайца, большие зайцы,

пушистые, и в лапке у них у каждого светится месячный луч, как рублевая свечка.

Горит все и переливается светом от этих месячных свеч, зноится в мелких усиках травки, и по этой травке кланяются друг дружке головками первые весенние цветы, звенят чуть уловимым звоном в золотые свои колокольцы самые ранние цветы—куриная слепота и чуть мерцают маленькими фонариками раздуванчики.

А вокруг пенька-а!.. словно на базаре игрушки...

Зайцев этих, поменьше, побольше, сотни полторы будет!..

Вставши на задние лапки во весь свой заячий рост и выпялив длинные уши, полукругом ведут они хоровод и по-заячьи тихо поют: видно на пенушке сидит зайцам всем заяц и рядом с ним всем зайчихам зайчиха!..

У зайца прострелены оба ушка, у зайчихи одно, видно, видалые зайцы, и ушки у них завернуты в трубочки, как бы прошение с жалобой на Цыгана, которое они давно приготовили и куда-то в свой час подадут...

Но... Цыгана и в лесу и в селе все боятся, а он никого.

☆

«Какой зверок, а и тот свою церемонию имеет,— любуется Петр Кирилыч,—шугнуть али их?..»

Заложил Петр Кирилыч два пальца в рот по-цыгански, набрал духу...

А зайцы, взявши за лапки зайчих, плывут и плывут в своем хороводе: ни ночной совы они

сейчас не боятся, ни зверя,—сегодня у них заячий праздник, самый веселый праздник весны, и у зверей в этот день уговор друг дружку не трогать!

Правда, и в этот день волк с лисой за лапу не здоровается, но в каждом зверином сердце всякая жилка дрожит от истомы, и под шкурой такая пышет жара, от которой и у барсука повисает на сторону дымный язык.

Плывут на высоких лапах зайчихи и зайцы, и еле различимо для человечьего слуха за ними плывет заячья хороводная—зеленое море, и по этому морю все плывет с заячьей песней: качаются звезды на ветках, качается на мачтовой сосне месяц, как золотой фонарь на корабле, и словно парус, надувший во-всю скулы на буйном ветру, быстро обегает прогалинную опушку прозрачное облако.

«А пусть они...»—вздохнул Петр Кирилыч, заглядевшись, и так и не свистнул, а повернул от прогалины, и скоро ему под ноги, бог весть откуда, протянулась тропа.

Ни шороха нигде не прошелестит, ни сучок не скрипнет, только в одном месте, когда Петр Кирилыч сам оступился о какой-то торчок, над головой у него сорвался с сосны большой глухарь, с сенную плетуху, должно быть, притоковавший ее и дожидавшийся утра.

Долго после того по лесу полыхали могучие крылья и слышно было за версту, как он в темноте где-то на Светлом усаживался на другое место.

Петр Кирилыч прибавил шагу и скоро перепрыгнул канаву, которая с обеих сторон окаймляет Боровую дорогу.

☆

На дороге в лесу всегда человеку складнее...

Все след человечий,—куда он приведет, это дело другое, но все же по нему куда-то придешь... Может, даже туда, куда еще с роду-родов и не хаживал никто и куда каждый бы с великой радостью ушел, если бы знал в далекое царство дорогу...

Идет Петр Кирилыч не спеша по дорожным рытвинам и тихонько напевает про себя песенку:

Зеленая роща
На ветру шумела...
Хваленая теща
На пиру сидела...

Веселая такая песенка, но не успел ее Петр Кирилыч допеть до конца: чуть пройдя по дороге, он остановился на минуту, а потом перемахнул обратно канаву и, притулившись к березе, стал дожидаться. Ковыляя в бока, катится по дороге не разбери-бери что, то ли человек, то ли зверь, то ли тележное колесо догоняет хозяина: засадил, может, кто в незадачный час всю телегу с помолом на погнившем мосту, а сам побежал за подмогой!

— Эй-эй!—крикнул Петр Кирилыч, когда катушок до него докатился, и Петр Кирилыч хорошо

разглядел согнувшуюся в три погибели старушонку, побирушную сумку у ней на горбу и в руках кривоногую палку.

— Ох-о-ох!.. Как ты меня, добрый человек, напугал, так вся в яму и провалилась,—говорит, разогнувшись, старушонка.

— Откуль, баушка, на ночь глядя?—охрабрел Петр Кирилыч.

— От тетки к дяде, батюшка... от тетки к дяде... На мельнице, вишь, была, стучалась-стучалась возле ворот... так и не достучалась... Должно, спать полегли!..

— А сама-то с коего места?.. Вроде как у нас таких сморчковых по всей округе не водится?

— Всяк гриб на своем месте растет. Побирушка, батюшка... добрым куском живу... только подавать стали ноничи плохо... Обходишь сколь места, за день глазом не оглядишь, а в корзинке шиш... А ты-то сам, добрый человек, откедышный?

— Чертухинский,—простодушно ответил Петр Кирилыч.

— Чертухинский?.. А-а-а!—протянула старушка.—Самое что ни на есть хаплюжное место...

«Ишь, старый чорт, куда метит»,—подумал Петр Кирилыч.

— Нет, я так по лесу болтаюсь: иду к Дубне на сома жерлицы ставить...

— Ой, смотри, парень: поставишь на сома, поймаешь девку без ума... Эна, у тебя кудри-то какими колесами с головы катются... Да уж иди-иди с богом: никому не скажу! Прощай, добрый

человек! Ловись тебе рыбка большая и маленькая!..

Поклонилась старушка Петру Кирилычу в пояс и дальше пошла по дороге, опять нагнувшись низко к земле, разглядывая ее, как бы, грехом, не упасть.

«Старуха знойкая!..»

Глядит ей вслед Петр Кирилыч: горбата она издали, словно овес молотили у нее на спине, и маленькая—в руку зажмешь! И то ли вслед ей так забила луна из-за веток, рассыпавшись зайчиками на дорогу старухе под ноги, то ли и впрямь порснули изо всех кустов самые настоящие зайцы, только счету им нет, скачут они, играя друг с дружкой, и труском трусят, забегают вперед и в бока, припрыгивают ей на колени и становятся впереди на задние лапки, и на каждой зайчихе повязан по длинным ушам зеленым платочком лопух, и у каждого зайца боярской шапкой лихо заломлен на самый затылок разрисованный крапинками самых разных цветов первый весенний гриб—мухомор, и в ушах у зайчих продеты дорогие серьги, и у каждого зайца в передней лапке—свеча!..

«Ой-ли!.. Да ведь это, пожалуй...»

Но не успел Петр Кирилыч обо всем догадаться и старушку догнать и окликнуть: под несмолкаемый, безветреный шум, бегущий с ветки на ветку, накатилось прямо на месяц небольшое облачко плотным комком, юркнул в него месяц, словно в мешок, и все у Петра Кирилыча перед гла-

зами—лес, старуха, зайчихи, повязанные в лопуховые платочки, и зайцы в боярках, и на минуту сама дорога под ногами исчезла, словно кто ее из-под ног выдернул: на всю землю, как черное вороное крыло, легла с густого облака тень.

ЗАПЛОТИННОЕ ЦАРСТВО

Подошел Петр Кирилыч к Дубне и забрался опять в клетку ольшняка и бредовника, развел ветки рукой, но ничего такого не видно. Не видно ни терема под плотиной, ни дубенских девок на дне не видать, ни избенок по краю, от сомов по воде даже кругов не заметно, ровно катится Дубна под месяцем, ни морщинки нигде от ветерка—как утюгом прогладили, и вся она закрыта темнозеленой пеленой и на пелене этой катится месяц, и из воды смотрит с него какая-то рожа и будто плачет, а не то будто смеется...

Шумит-шумит в плотине вода...

Да что ж... она вода и вода!.. На нее хоть все смотри да слушай... ее не переслушаешь, а вот насчет того... сего... вроде как и простой видимости даже не видно...

Сидит Петр Кирилыч, спрятавшись в ветки.

«Жулик, видно, Антютик!..»

Неймется Петру Кирилычу выйти на берег, хоть на том самом месте посидеть, где вчера дубенская девка купалась; хотел было он пошире ветки развесть, но как раз совсем у него над головой прокуковала шальная кукушка:

— Ку-ку! Ку-ку!..

«Вот еще!—думает Петр Кирилыч.—Это она спутала месяц... Больно светло!.. Да и... разные бывают они!..»

— Ку-ку!..

«Смотри, Петр Кирилыч: на этот раз ворон не лови!..»

И вправду: прокуковала кукушка три раза, и вслед за кукушкой кукушечьим голоском запела на берегу дубенская девка; не разглядел ее Петр Кирилыч до этого, потому что так и уперся в плотину, а в плотине известно—вода... Заглянул Петр Кирилыч левее, вроде как то же, да все же не то: и голос не сравнить,—куда соловью до кукушки,— и сама она худа и неутробиста, словно за ночь сдала от какой тяжелой болезни... А на голове кумачовый платок...

Ударил выпятившийся из-за сосны месяц в девичье лицо, и Петр Кирилыч хорошо видит слезинки во впалых щеках и грудь доской, и сарафан, такой же голубой и с колокольчиками по подолу и по груди, только висит он словно на палке... Сидит эта девка, уткнувшись в коленки, смотрит в реку и поет и вместе с нею кукует кукушка.

— Ку-ку!..

Бежит Дубна по ельнику...

— Ку-ку! ку-ку!..

Текет ку...да нивесть...
У старого у мельника
Невеста дочка есть...

— Ку-ку!..

Красна она, как солнышко,
Как месяц хороша...
До дна видна...до доныш...ку

— Ку-ку!..

Дубна у камыша...
Ой, светел над опушкою
Бьет месяц на ре...ку...

— Ку-ку! ку-ку! ку-ку!..

А девка вековушкою
Ку...ку...шкой на су...ку...

— Ку-ку!..

Знать нету счастья мельнику

— Ку-ку! ку-ку!..

А девке череда
Текет Дубна по ельни...ку

— Ку-ку!..

Неделомо ку...да...
Бежит она, торопится,
И месяц бьет всю ночь,
Глядит он, где утопится
Да мельникова дочь...

— Ку-ку!—кончила песенку кукушка.

«Непромыха!.. Я-то думал кто-кто, а это вон кто... кукушка!.. Только, чего доброго, она и впрямь не стала бы топиться!.. Ну, и клюква, ну, и квас! Жулик же этот Антютик... Хотя бы ведь и эта ништо: все девка!..»

В это время ряхнуло неподалеку в лесу, словно сосну подломило, и с той стороны, где мельница, раздался зычный голос, рассыпавшись на разные отголоски вниз по Дубне.

— Машу-у! Хэ-ей!

Маша всплеснула руками, перекрестилась, откачнулась немного назад, должно быть, и впрямь испугалась чего и в самом деле хотела броситься в воду, но как раз повисла на сильные руки: Петр Кирилыч выскочил из кустов и подхватил Машу на перехват.

☆

«Один кумачовый платок и остался»,—думает Петр Кирилыч, держа Машу на руках возле самой реки; глаза у нее закатились, лицо ударило в жар, и на лбу выступил бисеринками пот. Смотрит на нее Петр Кирилыч и жалко ему: как-никак, а ведь тоже девка...

На дне терем закрыт на ворота, у ворот стоят две зубастые щуки, и на самой середине носится за мелкой рыбой пятипудовый сом. У самого выхода на берег вода еще не замыла следы, и убраны они драгоценными камушками: видно, и впрямь вчера купалась настоящая дубенская девка, только Петр Кирилыч не сумел взять своего счастья и променял его на Непромыху.

«Эх, Петр Кирилыч,— сказал Петр Кирилыч вздохнувши,—видно, недаром тебя люди прозвали: балакирь!..»

И в первый раз поцеловал девичьи губы.

☆

Недвижна Маша у Петра Кирилыча на руках, только губы у нее горят, как уголья, и жарко к ним Петру Кирилычу прикоснуться губами. Оторвался он на минуту и поглядел, как зачарованный, на другой берег Дубны, а там так и перевивается туман, то вверх, то вниз, вытягивая с реки белопушистую шею, и то заволакивая все перед глазами, то открывая все словно переделанное заново, и вот уже Боровая мельница—не мельница, а стоит там на ее месте высокий дворец с серебряной крышей, окна во дворце во все стороны, высокие, как в церкви, и во все стороны крылечки, и крылечки унизаны хитрой резьбой, и только одно крыльцо голубое, словно на него само седьмое небо упало. На крылечках сидят чертухинские девки, прядут шелковистую пряжу и перед каждой на золотистом гребне большое паймо. Видно по всему, что собрались они сюда из Чертухина не зазря: готовят они дорогое приданое, нитки бегут им под ноги, как дождевая водичка, сами нитки собираются в большой серебряный стан и из стана широкими полотнами стелятся за околицу, и теперь не разберет Петр Кирилыч хорошенько, где плывет дубенский туман, где белеют дорогие холсты с расшитыми на них весенними цветами-раздуванчиками...

Смотрит Петр Кирилыч и даже в затылке почесать не догадается.

Но вот растворилось большое окно на восток, у окна сидит, облокотившись на подоконницу полной рукой, прекрасная царевна Дубравна, и ни печали теперь у нее на лице, ни тревоги, машет она Петру Кирилычу белой рукой, манит его и зовет на крыльцо; на крыльце впереди всех Дунька-Дурнуха, рядом с Дунькой—Ульяна, только Ульяна теперь стала так же молода, как и Дунька, словно ровесницы. Дунька пригожа и нежна на лицо, веснушек у нее нет на щеках, и по лицу всему девичья благодать такая разлита, и поет она вместе с Ульяной, и девки все им подпевают тихими голосами, каких и в светлую утреню не услышишь в чертухинской церкви. Только слов у них не разберешь. Видно как шевелятся губы, как улыбаются приустные ямки, как сошли все они с голубого крыльца и за руки взялись и хороводом поплыли к горбатому мосту... Окошко за ними закрылось, Дубравна пропала, и в окне мелькнул кумачовый платок да с платья посыпались белым пухом за окна отцветшие весенние цветы-раздуванчики; валит-валит валом туман с Дубны на оба берега, завалил он с головой и чертухинских девок и мельницу всю заволок, и в самом-то деле видел ли Петр Кирилыч другой берег Дубны, или на один миг раскрылись пред ним водяные ворота и предстало ему на минуту синее заплотинное царство, где такие же города и деревни, и такие же люди, и такая же Боровая мельница есть, как и у нас, только живут там совсем по-другому, и всякий туда с радостью

бы, может, пошел, если б только знал наверну́ю дорогу...

Посмотрел Петр Кирилыч на Машу и снова припал к ее порозовевшим губам.

ЦЫГАНСКОЕ СОЛНЫШКО

Славно светит месяц, забирая над лесом все выше и выше.

С дубенского берега, как вода в реку течет, струится густой свет-хмелевик—от него и зверь, и человек одинаково разум теряют...

Ой, же ты, месяц, цыганское солнышко!

Светишь ты одинаково с высокого неба мужику и барину, молодому и старому!

Все кошки при тебе серы! Все девки красивы!

Каждый молодец—образец, и все мужики с бородой... друг на дружку похожи...

Труден день трудолюба, не раз он за него со всех четырех чертыхнёт, разгибая потную спину... Пригнуло его крепко к земле: надо кормиться, землю по́том поить, ребятишки сидят у окна, как галчата, баба тормошится весь день, как на ветру с болоною береза, значит, скоро жди еще лишний рот, надо, надо спешить, косить, пахать, сеять, убирать... веять, молоть... Да, эх, да, осподи-боже, хватит ли дня мужику, за который он едва-едва на зиму-зимскую собьет кусок хлеба!..

Месяц, цыганское солнышко!

Любит тебя серый мужик, в песне зовет тебя «чудным», а таким словом обмолвится он разве

спросонок да невзначай; умиление хоронится у него в бороде в виде бессловесной улыбки и редко прорвется, разве только в песне да сказке...

Любит тебя серый мужик, потому что под тобой можно поспать, можно руки и ноги хорошенько расправить, до утра прогрезить и обо всем на свете забыть!

Мужик же без снов сна не любит!

При месяце много пригожей жена и мурцовка по вечеру вдвое вкуснее, при месяце на каждом крылечке, словно резьба по застрежке, под месяцем и нечистая сила виляет хвостом возле мужицкой избы в виде блудливой собаки.

Потому-то и любит мужик в полуночь на луну выйти лишний раз на двор и постоять подольше с легкой нуждой у кутка.

За эту недолгую минуту чего-чего только не передумает он. А надо, надо спешить, рано вставать, а то будешь носом клевать в борозде и только людей насмешишь...

Месяц, цыганское солнышко!

☆

— Ты что это, парень, в мою девку вклещился? Губа не дура!

— Ой!—вспугнулся Петр Кирилыч и выронил Машу из рук на песок.

— Свернешь девке рот на-бок, будет косоротка, а и так никто замуж не сватает.

Стоит перед Петром Кирилычем человек, не особ-высокого росту, только шириной в хорошую

дверь не влезет, на нем войлочная шапка, и под шапкой чуть серебрятся густые, учесанные в кружок волосы, и борода идет по поддевке широким клином, совсем так, как в первый раз обернулся Антютик.

«Здорово живешь,—думает Петр Кирилыч в неожиданности,—только от этого... будто, душок не тот... а промежду прочим шут его разберет!»

— Чего вылупился-то? Не узнаешь?

Старик смотрит на Петра Кирилыча, заправивши бороду в рот, и посмеивается в нее доброй, чуть заметной улыбкой, а Петр Кирилыч с места сдвинуться не может, так и расставился весь на бока.

— Это ты, что ли, будешь... Спиридон Емельяныч?—собрался Петр Кирилыч с духом.

— Да кто же еще заместо меня... Ну, коли невдомек, так... я за него... Вот уж балакирь: не дарма про тебя такая слава идет!

— Да, Спиридон Емельяныч, нехорошая слава!

— Судьба, Петр Кирилыч, кого по головке гладит, кого по загорбу бьет... Только что же это ты? В зятья, что ли, метишь ко мне?

— Оно не то, что... ежели так рассудить все по порядку, но и действительно... да, коли касательно всего такое твое рассуждение будет...

— Значит, и этак и так можно. Нечего говорить, собралась парочка!

— Оба—два, Спиридон Емельяныч,—печально говорит Петр Кирилыч, поглядевши на Машу.

Запрокинула Маша руки, а и так на груди грудинки звания никакого не видно.

— Иду это я, Спиридон Емельяныч,—оживился Петр Кирилыч,—по берегу, жерлицу у меня сом утащил, гляжу: девка твоя топиться собирается...

— Бреши не дело... для души и тела!

— Ни в чем, Спиридон Емельяныч, сам видишь,—показал Петр Кирилыч на Машу.—Я это, конечно, тихим манером к ней, да в охапку, потому от греха... а у нее и так, должно, дух вон: испужалась...

— Отойдет!.. Не кипятком ошпарилась!..

Петр Кирилыч нагнулся к Маше и прошептал ей на ухо:

— Машь, а Машь?.. Слышь, что ль?..

— Дышит?—спрашивает старик, еще больше забирая бороду в рот.

— Дух идет, должно, что дышит.

— От этого такого девки никогда не умирают: отудобит! Это она с непривыки! Подумала, наверно: ведмедь!.. Кто тебя знал, что ты тут у нас рыбку удишь?..

— На сома... ставил, сом тут ходит... большой, пудов так на пять будет, а то и поболе...

— Засолить,—на целый поход хватит! Только как же это так, Петр Кирилыч, ты на такую недотыку польстился: ведь девка-то у меня, в час молвить, чтоб еще не попортить... девка-то, говорю, больно не товариста...

— По барину, Спиридон Емельяныч...

— Сам-то ты эна какой: смотри, не было бы после ошибки.

— Чего смотреть? Все божья плоть! Все, Спиридон Емельяныч, девка!

— Мелешь ты, Петр Кирилыч, чепуху, а... как на духу. Любо мне, старику, тебя слушать... Видно, кой-чего все же ты понимаешь.

— Большого понятия нет, Спиридон Емельяныч... так с ветки на ветку... пока не попаду в сетку...

— Оно так-то и лучше. Вот что, Петр Кирилыч, коли так, нечего нам тут на лешьей тропе ноги простаивать, в ногах правды нету, бери свою девку в охапку, да трогай. Пойдем-ка, помолимся богу!

— Я бы теперь чайку лучше попил, Спиридон Емельяныч!

— Нешто бы... и это дело!.. Ну-ка, забирай добро: эн, заря рожки кажет!

☆

Расступились кусты, и Петр Кирилыч едва успел оглянуться, как промелькнула у него в глазах широкая спина, прочернела на зелени длинная поддевка, и скоро по поросли пошел только треск, и шум побежал с ветки на ветку: носил Спиридон круглый год сапоги, а чинил их в кузнице, на каблуки им в акурат подходили подковы с трехлетки...

Петр Кирилыч развел руками, взял бережно Машу и, как перышко, положил ее на плечо.

— Э-ей, Петр Кирилыч! Лиманадиться будешь опосля!..

«В духах седни мельник»,—улыбнулся довольно Петр Кирилыч, положил Машу половчее на плечи и тронулся в обход по берегу, где стояли ольхи не так густо, как у самой воды, как бы нарочно сторонясь и давая Петру Кирилычу дорогу.

Тихо по берегу, как бывает тихо у нас в стороне в тот самый час, когда заяц положит у лежки последнюю хитрую петлю, сквозь эту петлю вся нежить и небыль в землю уйдет и сам лесной коновод—леший часто, заспавшись на полной луне, с этой минуты оборотится в пень или кочку, возле которой в тот день будет цвести земляника.

Быстро катится месяц под горку, все прозрачней становится и белее, недалеко уже ему до края Чертухинского леса, где стоит лесная сторожка, в сторожке Петька-Цыган спит на полати, цыган не цыган и не цыганского он роду, только жизнь у него цыганская и бытье конокрадное и любит он больше всего по лесу шастать да лошадей в стороне воровать, почему у нас и прозвание такое пошло: месяц—цыганское солнышко.

СУНГУЗ

Взобрался Петр Кирилыч на последний откос, перевел дух и тут только и заметил, что светятся ему прямо в лицо два большие синие глаза, синё в них, как было синё тогда под плотиной, когда он под нее с Антютиком смотрел, на плече у

него Машины руки, и от них идет под рубаху тепло.

«Не хороша Маша, да... наша!»—подумал Петр Кирилыч и поцеловал Машу в губы.

— Машь... а, Машь!..

— Штой-та?—вздохнула Маша и быстро заморгала глазами, словно проснулась.

— Жива?..

— Живехонька! Ну-ка, поставь меня, Петр Кирилыч, на землю, всю разломило.

Выпрямилась Маша и немного шатнулась.

— Откуда это тебя такой грех нанес? Я ведь хотела купаться. Вода, говорят, от худобы помогает...

— А я подумал—топиться!..

— Ты уж такое подумаешь: что меня хлебом что ли отец не кормит?.. Вот спужалась... вот спужалась, думала—леший!

— Ну, и ладно, что так вышло: не леший, а человек пеший!

Маша улыбнулась Петру Кирилычу и оправила на себе сарафан.

— Вот что скажи мне, Петр Кирилыч... Я все слышала, о чем ты с отцом говорил...

— Ну, и ладно, коли так, об одном деле не двадцать раз разговор заводить...

— Так-то так, и я не прочь от этого... только отец-то говорил с тобой больно чудно... Не пошутил ли он, Петр Кирилыч?..

— Какие тут шутки? Я те присватал!..

— Ой-ли, так и согласился?..

— В два слова!..

— И ничего... такого?.. Особенного?..

— Да говорю, что ничего. Ты же слышала!..

— Слышала, Петр Кирилыч. Только тогда, Петр Кирилыч, и я тебе вот что скажу: ты меня за тюху-то совсем не считай!..

Петр Кирилыч нагнулся к Маше и хотел поиграться, но Маша отвернулась, приложила ручку к щеке и в искосок поглядела на Петра Кирилыча. Стала она в эту минуту немного похожа на Феклушу, даже ямки чуть проступили на порозовевших и пополневших щеках, и от этих ямок по всему ее лицу словно свет пошел, и глаза глубже засинели, и гуще на плече под мочальной косой заголубел сарафан.

— Я что говорю,—прошептала Маша,—ты будешь балакать, а я возле тебя плакать?..

Ничего Петр Кирилыч не нашелся Маше ответить, потому ударила Маша в самую бровь, опустил он сначала голову, потом хлопнулся Маше в ноги. Маша вскрикнула тихо и закрылась руками, видно не ждавши такого ответа.

— Ну, коли так, тогда...—не договорила Маша, и только Петр Кирилыч поднялся, сама ему поклонилась.

Взялись они за руки и, не торопясь, пошли по дубенскому берегу в ту сторону, где густел все пуще туман от реки, и над туманом плавала черная мельничья крыша, и над ней уносился в небо железный конек с развеянным на ветру хвостом, словно сорвавшись со шпиля.

Тихо было по берегу. В этот час в городу господа спать ложатся, а у нас в Чертухине мужики выходят на двор позевать и холодной водой ополоснуться и лоб на утренний свет перекстить...

Смотрит Петр Кирилыч на Машу и думает сам про себя, что зря захаили девку... Девка как девка, не хуже других!..

Или и впрямь похорошела Маша за эту ночь, или это все туман да побелевший свет от луны, только случилось в этот раз с Петром Кирилычем то, что еще с роду-родов с ним не случалось...

☆

Сбежали они под бугор, и скоро впереди сгорбатился в тумане мост через реку, слышней зашумела в плотине вода. Петр Кирилыч вдруг остановился и схватил Машу за плечи.

— Что это такое, Маша?—спросил Петр Кирилыч, показавши рукой на мельницу.

С мельницы, мешаясь с гулом воды, шел какой-то непривычный и непонятный Петру Кирилычу гул, похожий и на урчанье воды в плотине и на уханье ночного сыча.

— Это?.. это батюшка к заутрени звонит... Разве ты его порядков не знаешь?..

— Ну?.. Во что это он такое долбит?..

— В корчагу. Она у него привешена на потолке и в корчаге—мутовка... У нас в подъизбице... церква...

— Хитрый мужик... А промежду прочим, пусть

его звонит! Давай, Маша, пригубимся покрепче возле отцовского дома.

Взял Петр Кирилыч Машу за плечи, и Маша сама к нему потянулась, и то ли у нее с непривычки ко всему такому сразу подломились ноги, то ли Петр Кирилыч обо что с бугорка споткнулся, только оба они повалились в траву, и в траве жалобно зазвенели у Маши по подолу золотые причастные колокольчики.

Вступила Петру Кирилычу в голову муть, и месяц в это время свалился с неба прямо к Петьке-Цыгану на полати.

☆

Как все это случилось, и сам Петр Кирилыч потом не мог хорошо рассказать по порядку. Когда он оглянул все мутными своими глазами—ударил в них, должно быть, едучий болотный туман!—Машу он не узнал...

То ли, когда они повалились в траву, Маша вырвалась и убежала, потому что такого всего без отцовского креста сильно боялась, и из той же, должно быть, боязни потом, когда Петр Кирилыч дурниной кричал на берегу, и его Спиридон Емельяныч услышал, обо всем отцу рассказала, то ли еще как все перемутилось, только Петр Кирилыч, раскрывши глаза на самом свету, хорошо различил длинную шею, по шее шли такие пупырышки, замест сарафана чернела суконка и в стороне черный дырявый подол завивался в траве конским хвостом, в головах же сидела тра-

вяная лягушка и громко квакала на Петра Кирилыча.

Вгляделся Петр Кирилыч в лицо и обомлел: тетка Ульяна!

Не пошевельнется она, глаза закатились, по всему лицу синие пятна и такая истома; в губах набилась белая пена, и губы скривились и застыли в поздней, похожей больше на усмешку, улыбке.

— Князь мой ненаглядный!—еле слышит Петр Кирилыч Ульянин шопоток: схожа она теперь с лица со старухой, которую встретил он на дороге и принял совсем не за то.

Кипьмя закипело под сердцем у Петра Кирилыча, и свет сразу померк, словно кто сзади подбежал к нему и плотно закрыл оба глаза ладонью. Размахнулся он далеко за спину обоими кулаками, со всей силы надавил коленом живот и сам не своим голосом закричал на весь чертухинский лес...

Но не успел Петр Кирилыч ударить. Взяла, значит, бобылка свое! Всю ночь, видно, проходила она по пятам за Петром Кирилычем... И когда Маша со стыда метнулась в кусты, Ульяна подстала Петру Кирилычу на дорогу, и тот на темный глаз—бывает такая темь перед утром, когда ночь потушила последние звезды, а день еще не настал!—на темный глаз не узнал ее и поймал вместо Маши. Да и на смертный этот грех обронила Маша на землю, когда убегала, красный платок, а Ульяна, знать, сразу сметила все, спря-

талась за куст на дороге Петра Кирилыча, повязала дорогой платочек на простоволосую голову и высунулась в нем из-за веток, когда, обезумев, искал Петр Кирилыч с растопыренными руками Машу по кустам у оврага... Сшиб он Петра Кирилыча с глаз, потому что в первый раз увидел он в этом платочке Феклушу!

На худой, видно, час Феклуша забыла его на реке, на свое несчастье Маша подняла, много раз лучше бы было, если б дубенские девки засунули его после купанья Феклуши куда-нибудь под корягу, потому что все же едва ли есть у них, как у наших баб, сундуки!

Но ведь так в жизни не только с Петром Кирилычем, а и со всеми нами может случиться... да и бывает!

Подчас глядишь: вот-вот человек схватит судьбу за загривок, ан не тут-то было, в самый нужный час в глаз и попала сорина!

☆

Посластилась бобылка на старости лет, и когда Петр Кирилыч занес над ней кулаки, она только одно слово сказала и... обернулась в корягу...

Только когда совсем рассвело, Петр Кирилыч немного очухался: на дворе, глядит, белый день, руки у него оббиты, и с них капает кровь, рядом с ним стоит на белом свету самый всамделишний Спиридон Емельяныч, и в сторонке держится за

елочку, словно боится опять упасть под овраг, испуганная, бледная Маша.

— Вставай, вставай, Петр Кирилыч. Что ты?.. Бог с тобой!—строго и ласково говорит мельник.

Петр Кирилыч поднялся, шатнулся к Спиридону, тот его подхватил под локотки, а Маша обеими руками закрылась.

— Сунгуз, Спиридон Емельяныч!

— Что?.. Что ты мелешь?.. Какой там сунгуз... это-же коряга!

— Сунгуз, говорю!..

— Пойдем-ка, друг... пойдем, я тебя причащу!— тихо говорит Спиридон.

За лесом нехотя плелось большое облако, похожее на бурую корову. Обещало оно хмурый день, и мутное солнце в мутных глазах у Петра Кирилыча висело, как грузное вымя..

Г Л А В А   С Е Д Ь М А Я

НЕДОТЯПИН АРМЯК

ЛЕД И ВОДА

Теперь если вспомнить, что приключилось с Петром Кирилычем, да все уложить по порядку, так и вправду будет чудно: что в самом-то деле, был этот Антютик аль нет?.. Али им совсем и не пахло, и каким-то боком тут ко всему прислонился хитрый мужик Спиридон Емельяныч?..

Время—большая квашня, за такой срок так все перемутится, что и концов нигде не найдешь!..

Только и сам Петр Кирилыч, когда он вошел за Спиридоном в переднюю избу и у него в глазах мельком проголубело крыльцо, и надвходный голубок крылышком махнул на него,—сам Петр Кирилыч, засевши в красный угол, куда его Спиридон посадил, долго, не моргнув, смотрел на Спиридона, на его чуть поседевшую не по летам пышную скобку с кольцеватым загривком, на длинную поддевку ниже колен, глядел на всю эту непривычную мужицкому глазу чистоту и зажиток, которые так и кидались из каждого угла на глаза: лавки покрыты полотенцами, хоть и не праздник, на иконах дорогие оклады, стекла

на них—не заметишь, по божнице идут из разноцветной бумаги кремли и по всем стенам картинки, каких и на чагодуйском базаре не сыщешь, на полу ширинки лежат, печка стоит в уголке, а не посередке, как у брата Акима, в глаз так и бьет белизной от нее. Словом, не мог сперва Петр Кирилыч хорошенько решить: что это перед ним сидит и в самом деле мельник Спиридон Емельяныч, али все тот же... Антютик; увел Петра Кирилыча на темный глаз поутру в заплотинное царство и теперь смеется его удивленью. Спиридон и в самом деле слегка улыбался.

— Что это такое с тобой, Петр Кирилыч, творится?—спросил Спиридон, рассевшись на лавку и показавши Маше на угол, где не на что было присесть.

Ласково смотрит Спиридон на Петра Кирилыча, а у самого глаза так и бегают по всему, словно спрятать что от Петра Кирилыча хочут, и Маша в сторонке стоит, на Петра Кирилыча пугливо озирается: во всем чудится Петру Кирилычу опаска перед ним и тревога, видно, он что-то нарушил и что-то узнал, чего знать бы ему не доводилось.

— Что это с тобой, Петр Кирилыч? Ты ведь такой дурниной кричал!

Послышалось Петру Кирилычу в этом вопросе большое участье к нему, и так хорошо у Спиридона при этом засветились не по-стариковски под пушистыми бровями глаза, что сразу язык у него развязался, и Петр Кирилыч так и понес обо

всем: как в лесу Антютика встретил, как ходили они с ним сватать дубенскую девку, что видел и слышал от этого Антютика, как ставил на сома возле плеса жерлицу, одним словом, до самой коряги дошел... но ни об ней ничего, ни про Феклушу не промолвился словом, потому что теперь и сам думал, что коряга была, как коряга, занесло ее-де в половодье в овраг весенней водой, а... Феклуша?.. Какая же это Феклуша, коли это была самая настоящая... дубенская девка... только Петр Кирилыч не сумел взять свое счастье, потому что хоть и складный из себя мужик, а не расторопен.

Слушает его Спиридон, широко расставивши ноги и полбороды заправивши в рот, оперся о стол широкой ладонью и пальцами по нему слегка барабанит. Кажется Петру Кирилычу, что Спиридон в бороду немного смеется, но не так это заметно, чтобы можно было на эту усмешку обидеться, потому что, конечно, и вправду ведь в неудаче Петра Кирилыча все же мало смешного.

«Говорить ему, али нет, что больно он на Антютика всхож?—думает про себя Петр Кирилыч, путая все больше в своем рассказе и сам сбиваясь с толку от этой близости и похожести Спиридона,—пожалуй, чего доброго, обидится старик... он ведь, по слухам, духовой! Не гляди на него, что сидит перед тобой и как молодой месяц светит... Через минуту может случиться... бровью только моргнет, и от тебя звания никакого не останется...»

Петр Кирилыч, думая так, не к слову замолчал, глядя Спиридону прямо в глаза. Спиридон прожевал бороду, отвернулся от Петра Кирилыча и принялся ее спокойно разглаживать широкой, как заслонка, ладонью.

Маша, глядя на это поглаживанье, еще пуще побледнела в углу, и руки, опущенные вниз, у нее задрожали: в сердцах отец али и в самом деле Петр Кирилыч ему пришелся по духу, и что Маше будет за то, что она Петру Кирилычу проболталась сдура да радости обо всем, о чем раньше бы из нее клещами слова не вырвать, потому что и сама она свыклась с отцовской верой, кажется, в огонь бы и воду пошла и скорей удавилась бы на тонкой веревке с мутовки в корчаге, чем ни с того ни с сего обмолвиться словом чужому человеку и на отца, может, накликать беду.

«Знать уж... быть такому греху!»—не раз подумала Маша со вздохом, еще не понимая и не разгадав, как обо всем этом думает сам Спиридон и как он поступит с Петром Кирилычем, который знает теперь, куда Спиридон Емельяныч убирает на зиму картохлю.

Но по лицу Спиридона никогда ничего не поймешь...

— Так, Петр Кирилыч... так... да, друг сердешный...—говорит спокойно Спиридон Емельяныч, видя, что Петр Кирилыч на самом нужном месте осекся и глядит на него, не сморгнув,—так... недаром тебя люди прозвали: балакирь! ни лошадь, ни кобыла: не было вроде, а... было!..

Так... ну, а... хочу я спросить... о боге как ты понимаешь? О боге?—повернулся быстро Спиридон, словно ветром каким на него дунуло, опять по столу забарабанили пальцы, бороду еще больше заправил в рот и так смотрит на Петра Кирилыча, будто только это и интересно ему от него услышать, а что там дальше с ним было да приключилось, то этого Спиридону знать нет особой нужды...

Петр Кирилыч поднялся с лавки, полотенце на пол свалил и руки расставил:

— Я... Спиридон Емельяныч, человек не божественный... живу, как бог на душу положит...

— Да... да... Петр Кирилыч... так оно, пожалуй, и лучше... потому, что то же на то же выходит... А все же... ежели такое дело случилось... Ты ведь, сколь я пойму, сватаешь... Машку (так и огрел глазами Спиридон бледную Машу)... Сколько пойму... так нам, Петр Кирилыч, подумать бы вместе.

— Дык что ж, Спиридон Емельяныч,—подался Петр Кирилыч весь к Спиридону,—разве я отпираюсь?.. Только я говорю, что по этой самой части слабенек... в церковь редко хожу... люди к заутрени, а я... по грибы... али забор подпирать в огороде: надо же правду сказать...

— Правду говорить вот как надо... Соврать всякий сумеет!..

— Так и я же про то же... Что сказать?.. Я не поп!..

— И не дьякон!—засмеялся Спиридон во всю бороду, встал с лавки и, не торопясь, положил

за Петром Кирилычем полотенце на место, расширился во все свои непомерные плечи и, все еще улыбаясь, потрепал Петра Кирилыча по загривку. — Денежки на кон!.. Не отдал бы я тебе свою Машку, Петр Кирилыч, за деньги, а... теперь...

Маша закрылась рукой, Петр же Кирилыч еще шире руки расставил.

— ...бери, Петр Кирилыч, задаром!

— Батюшка!—всполохнулась Маша из угла, словно курица оттуда прокудахтала, протянула она руки к отцу и то ли просила простить ее, пощадить, то ли благодарила за такое быстрое решенье отца, которое было ей, судя по всему, по душе.

— Молчи!—грозно топнул Спиридон, обернувшись к Маше, инда под ногой половица погнулась и звонко отдалось в стекле: молчи! Занес, было, руку, потом опустил, с минуту подумав, снова поднял и, сложивши крест высоко над головой, как будто крестом хотел Машу ударить, подошел к ней и... благословил.

— Поди нарядись, полудурье... Чего ты на сговор вышла фефелой, иль за ночь сестрин сарафан износила?

Грохнулась Маша Спиридон Емельянычу в ноги, схватила его за сапоги и стукнулась громко в них лбом, потом поднялась с опухшими глазами и с большой слезой на левой щеке, поклонилась снова в пояс сначала отцу, потом Петру Кирилычу и, не разгибаясь от поклона, бросилась к двери.

Петр Кирилыч не знал, как ответить и потому неловко только мотнул головой на Машин поклон.

☆

— Что ж, Петр Кирилыч, дело оно не плохое,— начал Спиридон совсем другим голосом, как будто ничего не случилось и на Машу он совсем не кричал, а так уж это и нужно: отцовский обычай. Только брови лежали над глазами, словно волчьи хвосты, на которые Петр Кирилыч не мог глянуть без страха.—Ты садись, Петр Кирилыч: в ногах правды нету... Что ж... говорю... вместе, небось, мельничать будем, не все же тебе молоть языком!.. За это хлебом не кормят.

— Да разве я прочь от дела, Спиридон Емельяныч?—оживился Петр Кирилыч.

— Пора!

— И Маше хорошо будет со мной,—прибавил Петр Кирилыч, не зная, что дальше сказать Спиридону, когда у него над глазами, от каждого слова волчьи хвосты так и растут... и из глаз зелень идет...

— Доброе слово! Только вот с тобой нам как будет обоим?..

Петр Кирилыч не сразу нашелся ответить. Потом вспомнил, что про него стороной судачат в деревне и тихо ответил:

— Я не разбойник, Спиридон Емельяныч!

— Разбойников я... не боюсь,—вскинул голову Спиридон Емельяныч.—Чего я боюсь,—сказать те-

бе, так не поверишь, пожалуй!—хитро сморгнул Спиридон и улыбнулся.

С водонос непомерные плечи, руки,—говорили, Спиридон ими безо всего выворачивал пни и таскал из земли молодые деревья, как ребят за вихры,— еще чего Спиридону с такою силищей бояться!

— Боюсь я пуще всего, Петр Кирилыч, знаешь кого?.. Отца Микалая!.. На ведмедя голый выду... а на эту гниду... пожалуй, что нет!..

С этим словом Петр Кирилыч припомнил странный звон, который он слышал с обрыва, когда они с Машей шли по берегу недалеко от моста и Маша обмолвилась о Спиридоновой вере, вспомнил все, что болтали в свое время про брата Спиридона Андрея, и без дальних слов обо всем догадался.

«Так вот оно что!»—смекнул Петр Кирилыч и, немного думая, выпалил как из ружья в Спиридона:

— Спиридон Емельяныч... возьми меня в свою веру!

Спиридон даже немного шатнулся.

— Человек—не кулек, под мышку его не ухватишь, а вера в человеке: вот здесь!

Спиридон Емельяныч показал на пупок.

— В самой середке!..

— Ну, так тогда... научи богу молиться и верить... Сделай милость такую!.. Я еще по-хорошему-то... ни в одну веру не верил!

— Молись, Петр Кирилыч, так же, как и живи,

а живи так, будто читаешь молитву... вот и вся недолга́!.

— Молитвы я знаю, Спиридон Емельяныч...

— Знаю, что знаешь... небось не татарин... надо вызнать в человеке самое главное.

— Ну вот и скажи: что же в человеке по-твоему выходит главнее... всего?

— Всего главнее, Петр Кирилыч, плоть в человеке.

— А ведь и верно... пожалуй,—простодушно согласился Петр Кирилыч.

— Плотен мир, Петр Кирилыч... Во-вторых же, и главнее всего, самое главное—дух!.. Только: что есть плоть в человеке и что в человеке есть дух?

Петр Кирилыч так и впился в Спиридона. Спиридон же в плечах будто еще шире раздался, на лицо весь просветлел, словно невидимые руки зажгли большую лампаду, у которой стоял Спиридон, опираясь в оконный косяк, борода заходила волной, и как у молодого от широкой улыбки в бороде сверкнули белизной крепкие зубы.

— Сказано бо в книге «Златые уста»: «Плоть в человеке крепка и упорна, как зимний лед на реке, дух же прозрачен и чист, как вода речная под ним, бегущая по золотому песку чисел, сроков и лет!.. Растает лед на реке и сольется в виде стоялой и отяжелевшей за зиму воды с весенней веселой водою, тогда придет на землю весна и поднимет над головой высокую чашу, до края налитую светом и радостью, и из чаши Вечный

Жених отопьет только глоток!.. Сотлеет упорная плоть и сольется с духом текучим, рассыпавшись прахом, смерть с дороги под окно завернет и подаянья попросит, и никто ей в куске не откажет и даст самый лучший кусок! Вот что плоть в человеке и что в человеке есть дух!»

— Д-у-у-х!—зачарованно передохнул Петр Кирилыч, схватившись рукой за глаза, будто больно им было от света, идущего от Спиридона.

— Сказано бо было и то: «Человек в землю уходит, чтоб сбросить в земле истлевшую плоть и жить в пло́ти плоти, сиречь в нескончаемом духе, ибо дух есть—нетленная плоть, но человеку не легко расставаться с землею и с земною любовью, как и змее вылезать из старой обшарпанной кожи. Значит: дух в человеке и плоть, лед и вода, суть два закона одного естества, и оба их надо исполнить и ни одним нельзя пренебречь».

Спиридон обмахнул лоб рукавом и замолчал.

— Поэтому... по этой книге выходит: монахи стараются... зря?—спрашивает Петр Кирилыч.

— Здря... потому: лед и... вода!..

— То-есть как, Спиридон Емельяныч?—переспросил Петр Кирилыч.

— Да так...

Хотел Спиридон Емельяныч еще что-то прибавить, но за спиной у него чуть скрипнула дверь, Спиридон на слове запнулся и опять замолчал... Замолчал и Петр Кирилыч: в двери показалась Маша в голубом сарафане, который ей подарила

Феклуша, в белой шелковой косынке на голове, на которой цвели хитрым рисунком цветочки.

Петр Кирилыч уставился на Машу и сначала глазам не поверил: уж то ли сряда на человеке такую силу имеет, то ли еще совсем не пришел в себя Петр Кирилыч, только таких девок Петр Кирилыч не видел с роду-родов... разве вот, когда в первую ночь Антютик показал ему дубенское дно, и у плотины ворота раскрылись... Только там было все ночью, в луну, да и... было ли в самом-то деле?.. Угораздился же сказать Спиридон: не было вроде, а... было! А тут: белый день, Машу можно за руку взять, колокольчики по подолу и спереди падают вниз по каемке, белый платок из чистого шелку, индо хрустит от него на зубах, на плечах расфуфырка, а в расфуфырках известно: девку можно понять и этак, и так, а какая она на самом-то деле?..

— Девка вроде как ничего?!—шутит Спиридон Емельяныч, оглядывая Машу и подводя к ней Петра Кирилыча за руку.—Только что же это ты сама-то нарядилась, а жених так и будет в рубахе? Небось не пастух... Поди принеси-ка армяк!

— Слушаю, батюшка,—пропела Маша тонким голоском и неторопливо пошла за печку. Прозвенели с нее колокольчики на всю избу... и вот теперь уж чуть слышно, как из самой земли, золотым звоном звенят они под ногами, а под ногами в этом месте по всему должно быть заплотинное царство, где, хоть все и так же, как и у

нас, но живут там не по-нашенски, а... совсем по-другому!..

Не хотелось Петру Кирилычу больше ни о чем говорить со Спиридоном, хитрый он все же, выходит, мужик, да и сам Спиридон, видно, любил больше молчать. Стоят они возле печки и смотрят под ноги...

Не скоро Маша вернулась...

☆

— Прими, батюшка!—поклонилась Маша отцу.

Спиридон осенился широким крестом и развязал узелок.

— Крестись, Петр Кирилыч, только крестись уж по-нашему, а... не щепотью... Так будешь нюхать табак...вот как,—сложил он Петру Кирилычу пальцы, как благословляют попы,—в двуперстие.—Крестись на одежу: вишь, какой армячок... В ем один мужик на тот свет, было, собрался, да... его не пустили!

Петр Кирилыч принял слова Спиридона за шутку.

— Скажешь еще, Спиридон Емельяныч!..

— Право слово... Что ты такой за... Фома? Срядили монахом и вместо Ивана... назвали... Петром!..

— Диковина!—усмехнулся Петр Кирилыч и неловко полез в рукава.

Пришелся ему армяк в самую пору, словно стеган по мерке. Спиридон перекрестился, глядя на Петра Кирилыча, перекрестилась и Маша, и

Петр Кирилыч почуял в своей руке ее холодную руку.

— С богом!—сказал Спиридон и, откинув полог у печки, на глазах Петра Кирилыча стал... опускаться... Оттуда заголубело, крепко ударил Петру Кирилычу ладанный дух, и дневной свет смешался с неживым меркотным светом.

СЕДЬМОЕ НЕБО

Петр Кирилыч сходил за Машей по крутым ступенькам наощупь, зажмуря глаза и держась за сердце и в самом деле немного ослепши от этой быстрой смены тусклого непогожего света на призрачный, больно бьющий в воспаленные глазницы свет от разноцветных лампад.

Сквозь дрожащие от полыханья огней ресницы видятся они Петру Кирилычу везде в памерках подполицы в великом множестве, голубые и синие, желтые и розовые, все на золотых витых цепочках, тонких, с широкими бантами из разноцветных лент, какими девки в Троицу себе повязывают косы перед хороводом. Чувствовалась в этих лентах и причудливая девичья рука, отведенная от Машиного сердца строгой отцовской рукой.

Мерцают лампады с обоих боков на Петра Кирилыча, уходя в самую глубь подъизбицы, и там синь густеет и мглится, как в глубокой плотине вода. Проморгались у Петра Кирилыча изумленные глаза только когда Маша остановилась и

больно зажала в погорячевших пальцах его правую руку.

— Сложи, Петр Кирилыч, руки на сердце,— слышит он Машин шопоток,— сейчас тятюшка службу служить будет.

Петр Кирилыч улыбнулся, взглянувши на Машу, с какой строгой важностью она это сказала, и постоловерски сложил на груди руки. Радостно и необычно было для него это меркотное лампадное сиянье, мельканье и подмигиванье изо всех уголков. Куда ни взглянешь, спереди и с боков играют огоньки, словно в гулючки, и сама подъизбица кажется такая большая.

«Должно, что во весь дом хватит»,—хозяйственно прикинул Петр Кирилыч, еле различивши в темноте заднюю стену.

В углах скопилась густая и неподвижная синь, то ли от ладанного дыму, которому никакого выхода отсюда не было, кроме как в землю, и он оседал сине-зеленым чадом, собираясь в неподвижные клубы, то ли от синего света лампад, только в сини этой уходили стены перед глазами, шатаясь, и над головой летел потолок.

Над головой раскинуто вышитое сусальными звездами, засиненное в корыте простой синькой домотканное небо, и по середине его катится как взаправдашнее золотым канительным колесом солнце мира, и у самого солнца, держась за него рукою, с блаженной и скорбной улыбкой смотрит вниз на землю пречистая мати. Сокрушенно она склонила в синем плате голову вниз, и вся

тонет в стрельчатых лучах головного венца—то ли образ, то ли картина, то ли просто бесплотное видение на проясненный смертный взгляд Петра Кирилыча,—хорошо он и сам не разберет... Видно, что в свое время не жалел Спиридон ничего для этого благолепия.

По стенам угодники разные из каждой кажется щелки глядят, большие и маленькие, в окладах и голенькие, в одной власянице и рясе, одни сугорбившиеся на иконной доске с поджатыми старостью кверху плечами, другие во весь рост и силу, с крепкими и молодыми ликами, с усиками, как у чертухинских парней в жениховую пору, и с такими же игривыми колечками и завитушками надо лбом. Уставились они пристально на Петра Кирилыча и будто пристально его разглядывают.

«Ишь тут как все вроде как по-другому, чем у попа Микалая,—думает Петр Кирилыч, оглядывая вокруг темные торжественно-прокоптелые лики,—святые-то у него, как родня какая!..»

Стоят, рукой подать от Петра Кирилыча, четыре евангелиста с большими книгами в руках, во весь рост, глаза светом исходят, венцы огнем пышат; справа от алтаря Микола, оклад на Миколе толстенный и весь в камушках, как в заводине дубенский берег усыпан, вроде как с лика смахивает немного на чертухинского старосту Никиту Родионова, строг тоже по всему, а мужик ничего себе, не вредный и веселый; рядом с ним то ли Иван-воин стоит, то ли Павел-Безрукий

с рогатиной, лик заспанный, ленивый и дремный, как весь наш чертухинский лес. Куда ни посмотришь, куда ни поглядишь, отовсюду глянет святой и то кольчугой разузоренной блеснет в синем полумраке, спадающей с плеч до самых коленок, то ризой в глаза ударит, инда посыпятся от цветов и красок из глаз тоже разноцветные искры. Видится Петру Кирилычу в этой иконной толпе вытянутая, как на мирской сходке, через плечи мироедов и заправил чертухинских робкая голова брата Акима и, поглядеть если пристально, благоверная Анна, в памерках свечей и лампад приставшая боком к другим, как часто на иконах рисуют малоискусные богомазы, думая на одной доске побольше святых уместить, исподлобья смотрит на Петра Кирилыча и ни дать ни взять совсем как невестка Мавра...

Да и сам Спиридон Емельяныч похож теперь в своей неподвижности перед алтарным входом на какую-то большую икону, вроде тех чудотворных, которые в коровий мор годов десять тому назад возили по нашей округе. Лик у него обращен прямо в седьмое небо и человеку незрим, к земле же—одна спина и затылок, на котором четко лежит масляным кружком мужицкая скобка. Только у какого святого были такие широкие плечи? Уж больно был Спиридон Емельяныч широк, кажись, не писал еще ни один богомаз такой иконы, на которой бы мог при искусстве уместить всю эту силищу!

— Миром с миром... осподу помолимся!—вдруг

прогудело по моленной и в разных углах отдалось:—Оспу помомся, оспу помомся!

Петр Кирилыч одернулся в своей задумчивости и положил за Машей вслед прямо Спиридону Емельянычу в спину первый століверский поклон. Риза на Спиридоне широченная, цветами с луга райского вышита, лучами с зари утренней унизана, так золотым колесом и обкатилась вокруг всей его грузной фигуры, розданной далеко в стороны, нарукавники золоченые, передник золотой, до полу, кисточками лежит на половице. Как и у настоящего попа—вся сряда и не дешевого сорту, и все от этого ризного золота зноится вокруг еще больше и еще быстрее плывет, как недовиденный сон, растекаясь в призрачное, еле различимое марево.

«Миром с... миром!—думает Петр Кирилыч про себя.—Мир—первое дело... потому вера—мир!..»

— Оспу помомся!—протекло опять из-под ризы.

Спиридон вместе с возглашением тихо, неторопливо склонялся в поклон перед алтарем, и последние звуки шли откуда-то сбоку его растопыренной в стороны ризы, словно столетний дуб по осени на бурном неперестающем запредельном ветру сгибался тяжкой спиной, пока ветки не достанут земли, также медленно потом расправляясь и уходя кудлатой головой в седьмое, самое синее небо.

Каждый раз Спиридон в поясном поклоне рукой касался земли, как это делают от важности молодые соборные протопопы, когда надо бы по чину

земно бухнуть на оба колена. Спиридон же думал лучше переложить в молитве, чем не доложить: не долг соседу платишь, когда молишься богу. Хорошо он разглядел за свою странничью жизнь с братом Андреем церковную богопоставность и чин: как и где надо перед образом встать и как повернуться, и теперь ото всей неутолимой и жадной на бога души вершит свою мужицкую требу.

Маша тоже не спустит глаз с отца, руки у нее сложены крест-на-крест на чахлой груди,—у столоверов нельзя во время молитвы в карманах щупать,—губы чуть приоткрыты, видно, что повторяет за отцом неслышно каждое слово, и на лбу чуть заметными бисеринками выступил пот, должно быть, от жаркой молитвы и от непрошедшего еще страха перед отцом.

Кажется Маша Петру Кирилычу в этом сияньи лампад и свечей с каждой минутой все ближе и роднее, словно сколько уж годов вот он так с ней простоял здесь за широкой спиной Спиридона; изредка взглянет он на нее в бочок в полглаза и диву сам дастся:

«За что, спрашивается после этого, захаяли девку?»

Кажется она ему теперь в белом своем платочке на небольшой аккуратной головке и в этом синем Феклушином сарафане столь прекрасной и какой-то незримой, на глаз нелегко дающейся красотой; тонко под матовой бледностью разлит у Маши по щекам еле уловимый румянец, и даже

ямки кажется тоже проступили чуть-чуть, как у Феклуши, около шепчущих губ. Если бы не Спиридон Емельяныч и не эти святые, которые изо всех углов уставились на Петра Кирилыча и Машу, сгреб бы ее Петр Кирилыч в охапку, как у оврага, и впился бы в горячие воспаленные губы. Правда, что девка не больно товарна—грудь попрежнему падает бессильная вниз, без малого какого овала, и круглости у подбородка, опущенного перед поклоном... Ништо: на костях мясо слаще... и меньше ситцу пойдет... Зато так сини, так светлы у Маши глаза за большими ресницами, поволочными и влажными, и если взглянуть в них сбоку, то горит у Маши в глазах еще больше лампад, чем сейчас в молельне перед образами.

«Как ангелка стоит!»—улыбается Петр Кирилыч на Машу.

Кланяется он усердно за Машей и Спиридоном и украдкой пробует во время земного поклона на палец подол Машиного сарафана, и шелк хрустит у него в пальцах, и отдается этот шелковый хруст и шелест где-то глубоко в сердце, должно быть, в том самом месте, где живет и человечья молитва, и то самое чувство, которое на мужичьем наречьи обозначается неопределенным словом: страданье!..

Сиречь речь говорится: любовь!..

☆

Но вот Спиридон Емельяныч качнулся на месте и ступил два шага вперед, и половицы под

его ногой звонко хрястнули на всю молельню. Евангелист Лука посторонился перед Спиридоном, отошел в сторону на алтарной дверке, и Спиридон, шурша ризой о косяки, боком пролез куда-то в золотистую мглу. Отлегло у Петра Кирилыча от сердца, он глубоко передохнул, переменил руки на груди и чуть заметно ослабил ноги в коленях.

В молельне стало тихо. Маша неподвижно стоит и, не отрываясь, смотрит на евангелиста, за которым скрылся Спиридон Емельяныч, даже святые все, кажется, на иконах чуть смежили веки, отдыхая минуту от спиридоновской требы, еще ниже склонив прокоптелые лики. Долго так стоял Петр Кирилыч, оглядываясь кругом и не смея проронить ни слова. По обоим бокам вдоль стены березовые и еловые пеньки, обрезанные в пуп человеку, на пеньках навернуты коловоротом бесчисленные дырки для домодельных свечей, и везде на пеньках мигают согнувшиеся от жары на-бок вощанки, красными своими язычками смешавшись с пламенными языками духа, сошедшими на головы двенадцати апостолов на иконе Тайной Вечери.

Вдруг не на земле и не над землей, а на самом синем седьмом небе раздался торжественный мутовочный звон. Спиридон шуршит ризой об алтарную стену, видимо, во-всю дергая в углу за веревку и выдыхая из груди большие дышки. Из алтаря, из-под самых ног евангелистов, густо повалил ладанный дым, Маша засияла под белым

платочком, и еще гуще зарозовели у нее щеки, еще пуще прошла по румянцу ее смертная бледность.

«Вот она, вера христославная!»—сияет и Петр Кирилыч.

Долго звонил Спиридон Емельяныч, потом звон стих, конец веревки слышно ботнулся об пол, Иоанн и Марк разошлись на стороны друг от друга, царские врата скрипнули в петлях, и во всю их ширину предстал Спиридон Емельяныч на пороге алтаря с чашей на голове, немного покривленной на-бок, и риза на нем вся вздулась к плечам на запредельном ветру, и сам он стал еще на целую голову выше.

— Со страхом бо... жи... им,—прогремело из-под чаши, и на Петра Кирилыча грозно метнулись волчьи хвосты, и Петр Кирилыч, не глядя на Машу, зачастил некстати в дробные поясные поклоны, вместо того, чтобы стоять, как Маша, неподвижно, потихоньку все ниже и ниже склоняя перед Спиридоновой чашей голову.

Но на Спиридона Петр Кирилыч и взглянуть не посмел.

«Со... страхом,—думает он,—первое дело выходит у Спиридона: страх!.. У страха глаза велики, на большой же глаз и бог виднее!»

— ...и верою приступити!—дотянул Спиридон, подошел к Петру Кирилычу, снял чашу и, полуоткрывши краешек золотого возду́ха на ней, достал ложечкой кровь и тело и сунул в его полуоткрытый рот.

Маша в это время держала у него на груди парчевый плат и в полуголос пела после каждой ложечки причастный стих:

— Тело Христа-слова примите—истошника нетленного вкусите!

На вкус Петр Кирилыч мало что разобрал, но показалось ему, что это было хорошее домашнее сусло.

Причастил Спиридон Петра Кирилыча и Машу и, отвернувшись от них, сам после трех крестов допил всю чашу до дна.

Странное прошло по телу Петра Кирилыча тепло, и в глазах словно стало чище. Видит он впереди Спиридона, не затворившего двери за собою в алтарь. Стоят там простые дворовые ясли, в яслях душистое зеленое сено и на сене вроде как младенец спеленутый под золотым антиминсом лежит:

Христос рождающийся?!

...и по обоим бокам яслей на мочальных ниточках свисают с потолка мохнатые, нахохленные, из канители шитые звезды, путеводные звезды, указующие путь мужицкому глазу в новый мужичий Вифлеем.

Плывет ладанный туман все гуще и гуще, напирая в нос Петру Кирилычу и связывая ему губы душистой еловой смолкой, хитро подмаргивает в нем уголек при каждом взмахе кадила над яслями своим золотистым глазком, моргнет и тут же потонет в гущенном облаке дыма, юркнув снова в широкую полу Спиридоновой ризы... Плы-

вет-плывет ладанный туман, как утренний туман на весенней заре, и в глазах Петра Кирилыча рябит, словно тесовый пол поплыл под ногами, и стены молельни отходят все дальше вглубь и лежат теперь как далекие берега Тигр-реки, за которыми уже не чертухинский лес и не село Чертухино в этом лесу, а душистые гущи райского сада, под которыми луговина никогда не вянет и с цветов не опадают листы... Если и есть там мужики, так и на мужиков они мало похожи, а похожи больше на князей да попов, такие ризы на них горят и блестят кольчуги, и глядят они сейчас с этого берега на Петра Кирилыча и манят тихо занесенной для молитвы и сложенной в благословенный крест рукой.

«Хороша же вера у Спиридона»,—думает Петр Кирилыч, а Спиридон снова вышел из алтаря и перед самым носом кадит на Петра Кирилыча, вот-вот зацепит кадило, но, видно, не учить этому делу Спиридона,—только большими колесами так и валит из кадила еловый дух, смешанный дляради с ливанским ладаном. Загородил теперь Спиридон своей ризой, кажется, весь мир перед Петром Кирилычем,—такая у Спиридона широкая риза и столько золотого света льется в глаза с ее райских цветов!.. Слышит только Петр Кирилыч, как по лбу у него катится к носу маленькими дождинками вода с березового веничка, машет им Спиридон на него со всего размаху, словно ухлестнуть им хочет, и в бороду себе шепчет, как заклинанье:

— В свете и силе крещается раб божий... в свете и силе... в свете и силе!..

Жмурится Петр Кирилыч от веничка и от Спиридоновых слов.

— Да кланяйся ты, чуня, по-нашенски,—вдруг разобрал Петр Кирилыч негромкий, но строгий Спиридонов голос. — Чего ты в сам-деле пуговицы чистишь? Клади крест: не бойся себя ушибти!..

Спиридон положил веничек на алтарный приступок в хлебную чашку с водой и показал Петру Кирилычу, как надо по-столоверски креститься.

— Во как!

— Слушаю, батюшка!

— А то крестишься, сынок, словно пробить дырку во лбу боишься.

— Слушаю, батюшка! — еще раз покорился Петр Кирилыч, хорошо зная стариковскую слабость: лишний раз поклонись—и дело с концом.

Потом во все плечо вытянул руку, сморгнул туман с глаз и прочертил перед Спиридоном широкий круг для креста.

— Во! Это—по-нашему, а... не по-монашьему!..

— Слушаю, батюшка!

Маша в это время незаметно подставила Спиридону подставку с толстой книгой, и он отвернулся от Петра Кирилыча и запел вместе с нею таким утробным, из самой глубины сердечной идущим голосом, что Петру Кирилычу хотелось бы им подтянуть, но ни на голос, ни на слова, как

он ни старался попасть, ничего у него не выходило.

Долго Спиридон с Машею пели. Голос у нее сейчас стал хрустальный и веселый, смотрит она в книгу, не отрываясь, и в книге, раскрытой на самой середине, разными хитрыми загогулинами и финтифлюшками выписаны столоверские крюки, по которым столоверы поют свои протяжные и, на голос если взять, очень хитрые духовные напевы. Только Петру Кирилычу на его неискушенный глаз показались они похожими на загогулины и завитухи, которые так ловко Петр Кирилыч откалывал у Феклуши на свадьбе.

Спиридон тыкал в них, перескакивая с одного на другой, обгоревшей свечкой. Понимала Маша иль нет, Петр Кирилыч не мог разобрать, только заметно было, как зорко она следила за черным хвостиком огарка, опасливо покашивая на самого Спиридона.

Как ни старался Петр Кирилыч, но так и не разобрал, о чем поют Маша со Спиридоном. Да и как тут разобрать, не знаючи дела: поют, словно жуки жужжат к теплой погоде, все слова в этом пении сливаются в одно какое-то, должно быть, самое важное слово, в котором сразу сказано обо всем: о земном и небесном... В нем весь мир, может, раскрывается до самой последней его подноготной, все разрешающей сути. Но что это за слово такое, так Петр Кирилыч и не уловил, хоть и усердно следил за Машиными сложенными

в бантик губами, и за буйно скачущей свечей Спиридона.

«Это, должно быть, то самое слово, от которого мир пошел!»—подумал Петр Кирилыч в тот самый миг, когда Спиридон ткнул куда-то в угол книги и оборвал сразу голос. Маша испуганно взметнула на отца глазами, еще продолжая в одиночку тянуть, потом схватила подставку и отнесла ее в глубину моленной. Спиридон зачастил на алтарной ступеньке, быстро и про себя шепча молитвы,—клал концовый начал. Два раза поклонился в землю, потом обернулся и с поклоном в пояс сказал Петру Кирилычу и Маше:

— Богу молясь, христославные!

— Спаси Христос, батюшка!—тихо ответила Маша, и Петр Кирилыч неловко мотнул головой.

Словно сама порхнула на гвоздь со Спиридона тяжелая риза и завился в свиток золоченый передник, замотавши в середку золотые нарукавники. Стоит Спиридон перед Петром Кирилычем в той самой поддевке, в которой он видел Антютика в памятную ночь весеннего полнолунья.

— Ну как, сынок?.. как?—говорит весело Спиридон Емельяныч, хлопая по плечу Петра Кирилыча.—Уразумел?

Маша оглянулась из угла на них и довольно затаила улыбку. Петр Кирилыч, однако, не нашелся ответить, смутился и сначала долго глядел на сапог Спиридона, потом что-то надумал, но ничего опять не сказал, и только бухнулся Спиридон Емельянычу в ноги.

ПТИЦА-КУКУШКА

Поехал как-то Аким на Боровую мельницу жито молоть и по дороге от нечего делать стал перебирать в памяти, у кого и где есть на выданьи девки...

Думает Аким об этом предмете, сидя верхом на мешке с прошлогодним зерном, и за недолгую дорогу додумался он до того, что набилось ему этих девок в башку больше, чем на поседки...

Такая пала мечта!..

То сидят они в глазах у него все, как на смотринах, то, как на чертухинской горке в Троицын день, ведут перед Акимом девичий круг, и Аким стоит посреди их голосистого круга и выбирает брату жену: девки все как на подбор, одна другой лучше, веселей и нарядней. Словом, никогда еще такой блажи с ним не приключалось, инда плюнул.

Смотрит Аким: лошадь стоит на одном месте и щиплет с хомутом у самых ушей с канавки траву.

— Ну, ты, балунья!..—крикнул на нее Аким и хлестнул хворостиной.

«Девки стали ноне фыркуньи... в женихах роются, как поп в кадилах...»—начал Аким рассуждать сам с собой, зная хорошо, что без изъянца и не вековуху им за Петра Кирилыча теперь не дадут...

«Потому—поздыш!..—думает Аким...—а поздыш хуже в сто раз вековухи... Да уж, Петр Кирилыч,

не спрашивай теперь: сколько те лет, а спрашивай лучше: велик ли подклет!.. Жар упустил!..»

В это время телега свернула под горку, которая, как зеленая подушка, лежала на выезде из большого елового леса; на горке стоял молодняк, такой частый, что сквозь него на аршин, кажись, ничего не увидишь; за молодняком пошли береговые кусты, на кустах первые листочки, отчего и за Дубной березовый мельничный бор стоит, как в зеленом дыму.

Повеселел Аким на лицо, когда на повороте гулко ударил ему в уши шум от падающей за плотину воды, и за этим шумом из березовой рощи вдруг громко закуковала кукушка.

«Должно, это она мне считает года!—подумал Аким про кукушку.—А, может... кому и другому: любят кукушки возле мельницы жить!..»

Думает так Аким, и с его широкого, обросшего густой щетиной лица не сходит добрая улыбка, отчего мужичье лицо всегда делается словно умнее. Чтит мужик птицу-кукушку и мельницу чтит, потому что птица-кукушка знает хорошо, сколько мужик проживет, а мельница кормит его, мелет зерно на муку, а может, еще и потому, что под мельничным колесом живут водяные русые девки, и когда эти девки выходят на свет, они обращаются в птицу-кукушку!..

Присвистнул Аким и, чтоб проворней бежала, хлестнул кобылу под ляжку в пахи.

Скоро кусты на берегу Дубны поредели, сошли поближе к воде, чтоб прополоскать в ней свои

захолодевшие за зиму руки, и на другом берегу, тут же около моста, горбато согнувшего спину, Аким увидал Боровую мельницу, крытую в щетку соломой; по соломе зеленела по скату мелкая травка; на князьке—покосившийся на-бок шпиль с вырезанным из железа коньком, и тут же большой открытый сарай с коновязью по боку.

Звонко запела вода в ушах у Акима, когда вкатил он на горбатый мост через реку: у мельницы жерновое колесо, нехотя и лоснясь ободом, вертелось со скрипом, и водянистая пыль столбом поднималась под крышу.

☆

Вот, если долго глядеть на то колесо и слушать в нем пенье дубенской прозрачной воды, то и земля поплывет у тебя из-под ног, и мельница сама стронется с места, и за мельницей березовый бор, да и ты сам и все вместе с тобою поплывет неизвестно куда вслед за Дубной: такая уж это река и таких-то зевак и любят ее водяные русые девки!..

Только одна здесь беда: нельзя за мужика этих девок посватать.

Добро, как такая дубенская девка приглянет тебя средь белого дня, тогда ничего: где-нибудь неподалеку ты увидишь березу с расставленными на-бок ветвями или осину, на которой ни один листочек не будет покоен в эту минуту, а на самой верхушке будет куковать во весь голос кукушка:

Ку-ку, ку-ку, ку-ку!..

... ты только стой да считай, тогда будешь знать без ошибки, сколько лет еще проживешь, а вот если ночью, да к тому же в луну, ну, тогда берегись: наутро кукушка не будет сидеть на березе и куковать тебе на дорогу не будет, да тебе и самому это уж будет не нужно—тебя на дне у самой плотины будут сторожить две дубенские щуки или самый большой сом. Сом этот, милый, в воде может хвостом убить человека, вот у него какая силища!..

Так и будешь, значит, до скончания века сидеть.

Такая уж эта птица-кукушка: она и в настоящем-то своем виде, то-есть, когда она не дубенская девка, которая обернулась, выйдя из воды, в птицу-кукушку, а самая что ни на есть и на самом-то деле серая лесная кукуха, так и тогда она свои яйца кладет, не как все птицы-домовницы, а в чужое гнездо.

Значит так и выходит: не каждому и не всякая кукушка верно кукует, надо их уметь различать.

Верно кукушка кукует только тому, кого полюбит дубенская девка, потому что у этих девок тоже есть свой закон и над ними есть набольшая, самая, значит, главная девка, на манер как бы царицы...

Петр Кирилыч даже и звать как ее потом говорил, потому что он сам ее видел своими глазами... Конечно, теперь вот сказать, что была на Дубне-де такая царица, жила она под плотиной

и звали эту царевну Дубравна, так едва ли... едва ль кто будет слушать и, навернóе, уже не поверит!..

Еще в те поры один Петр Кирилыч все это знал и кукушек умел хорошо отличать, потому что Петра любили дубенские девки, а любили, должно быть, за то, что наши деревенские дуры брезговали им и называли: балакирь!..

☆

Аким подкатил к коновязи, как к крыльцу хорошие ямщики подъезжают,—не смотри что лошаденка—хвост да грива,—стоя в возу на ногах и протянувши руки с вожжами далеко вперед, тпрукнул и, как молодчик, спрыгнул с телеги на землю.

Неподалеку схоронился в старых березах с потресканной корой на стволах небольшой дом, обитый по лицу широким тесом и крашеный по тесу в голубую бледно-небесную краску, с окошками в белых налишинах высоко над землей,—только достать человеку, с небольшим сбоку крылечком, у которого крутая тесовая крышка была похожа издали на две широкие ладони, сложенные на груди во время молитвы, как их рисуют на староверских иконах.

На застрехе сидели белые голуби по самому краю, выщипывая перья под крыльями, на теплую погоду хохлились и только один голубок, сердито надувши зоб, громко ворковал, кружась на одном месте рядом с белой голубкой.

«Столоверский скит!»—подумал Аким, глядя на мельничий дом.

В это время на голубом крыльце скрипнула дверь и в двери показался приземистый старик в длинной поддевке ниже колен, в дверной косяк уперлась еле поседевшая скобка волос и плечи, казалось, в двери были во весь их приступок.

Человек, разглядывая, кто это вкатил так на мельничий двор, приставил широкую, как заслон, руку к глазам и только когда ему первый крикнул Аким:

— Спиридон Емельянычу... все наше почтение!.. Как здоровехонек?

...он нехотя и неторопливо ответил:

— Доброго добра: там смелют!..

...постоял чуть, глядя внимательно на Акима, словно что хотел сказать, но потом, видно, раздумал и, повернувшись, громко хлопнул за собой обитой войлоком дверью.

— Медведина эдакий! Лишнего слова боится уронить!..—сказал недовольно Аким, когда зачернела широкая спина Спиридон Емельяныча и весь он на минуту задержался в двери, словно ему назад в эту широкую дверь пролезть было трудно.

Аким взвалил на спину мешок, согнулся по пояс, чтоб легче было нести, и направился, переступая большими шагами, в дощатый приделок у мельницы, куда мужики сваливают зерно, подчас дожидаясь очереди на жернова.

Когда Аким заглянул в приделок, приоткрыв наглухо захлопнутую дверку в него, мешок сам

у него выпал из рук и повалился на землю... Аким, не разгибаясь и не поднимая мешка, стоял в самой двери, потирая вспотевший лоб: в приделке на мешках, с немолотым зерном, белый от мучной пыли...

«Словно ангел божий!»—подумал Аким.

...сидел ножка на ножку Петр Кирилыч, и рядом с ним, к Акиму спиной, тоже вся в муке с головы до ног какая-то девка.

«Не... кукушка ли... это?»—подумал Аким, так и не решившись первый окликнуть Петра Кирилыча и дожидаясь, когда он сам к нему повернется.

Долго так стоял Аким и щупал на себе рубашку.

ЖЕНИХ ВО ПОЛУНОЩИ

С мельницы Аким только к вечеру вернулся вместе с Петром Кирилычем.

Прокатил Аким по Чертухину, стоя на коленках в возу и с поднятым над кобылой кнутом, без особой надобности дергая в обе вожжи: немало дивились чертухинцы, глядя на братьев, никто не знал еще причины такой поспешности и веселости, с которой Аким глядел на всех попадавшихся встречу. Аким снимал то-и-дело картуз, выкланивался, словно богатый. А мужики горделивы друг к другу: так большей частью подержится за козырек и... довольно...

Только, когда на галдарейке показалась Мавра с ребенком на руках, издалека еще увидавшая

Акима с помолом, Аким не мог уж больше стерпеть и на все село крикнул с телеги:

— Эво я, Мавра, женишка везу!..

— Чтой-то ты, Аким... поди все сразу узнают!..

— А что разве не правда?—опасливо обернулся Аким к Петру Кирилычу.

Все Чертухино шевельнулось от этого крика, створки на окнах захлопали кверху, бабы и девки, высунувшись, смотрят на улицу, волосы в растрепку, и в глазах у всех с невиданной прытью скачет Акимова телега, семеня колесами.

«Аким с помолу едет»,—решили они нетрудную задачу.

— Эй, ты... була-аная!—опять зашелся Аким, похлопывая по мешкам с солодом, который отпустил Спиридон Емельяныч на свадьбу, и заворачивая с дороги к крыльцу,—теперь шалишь-мамонишь!..

— Срахнулся!—тихо говорит Петр Кирилыч.

Аким подкатил к крыльцу, соскочил с телеги и снял перед Петром Кирилычем шапку.

— Ну, Мавра-лавра... сучи рукава, парь бочки!

Мавра разинула рот—солодовый свежий дух так и пер с телеги под нос,—решила, что дело, видно, и впрямь не за шутку.

— Добро пожаловать, братец родимый,—запела она у телеги,—где-то это ты пропадал столько?.. Мы уж заявку с Акимом хотели подавать.

— Ваш атлас: куды от вас,—говорит ей Петр Кирилыч, слезая с телеги.—Высватал!..

— Где?—так и уставилась Мавра.

— На мельнице... мельничью дочку засватал!

— Непромы-ыху?..— протянула было сначала Мавра, переложивши в волнении ребенка на другую грудь.

— Промоется: нам с лица не квас пить!— говорит Аким.— Эко дело: прозвание!.. Зовут да кличут, не в зубы тычут!..

— Казак, а не девка, Петр Кирилыч!— мигнула Мавра, переглянувшись с Акимом.

— В дом иду, сестрица. Теперь вам без меня посвободнее будет!

— Нам и с тобой, братец, не тесно...— обиделась, было, Мавра направду, но стерпела: уж больно негаданно да нежданно все это вышло, и хоть Непромыха не страсть какая находка, но ведь и Дурнуха тоже: рыло в мыле, нос в песке!

— Ставь-ка, Мавра, самовар на такой радости поскорее!— говорит весело Аким, сваливая с телеги мешок, мотнул на избу посеревшей от муки бородой и, немного ссутулившись, поволок его в амбарушку.

В избе так и уставились все на Петра Кирилыча, ребятишки, мал-мала-меньше, даже присмирели, разглядывая невиданный кафтан на Петре Кирилыче: пошел-то Петр Кирилыч в рубахе.

«Ишь ты,— думает Мавра, сложивши руки на животе,— ишь ведь какое дело выходит!»

Петр Кирилыч стоит посереди избы и смотрит себе под ноги. Чужой ему теперь кажется братнина изба.

— Ну, братец родимый, Петр Кирилыч, садись-ка... садись... под бога садись!..

Мавра скользнула за печку, загрохала в спехах самоварной трубой; в избе понемногу начинало темнеть; за околицей пастух играл на рожке, созывая в кружок сельское стадо.

Петр Кирилыч перекрестился на образ и сел под иконы, Аким рядом, немного поодаль.

— На той неделе, значит, свадьбу будем играть,—в который раз повторил Мавре Аким,— ты уж пиво-то, Мавра... пиво-то вари!

— Да что ты наладил одно и то же тридцать раз... Сварить не штука... только вот смотрю я на Петра Кирилыча и в толк никак не возьму: как это у него и по какому порядку все вышло?..

— А и в сам-деле!.. Ты бы, Петр Кирилыч, оповестил бы маленько.

— Да что ж тут много говорить!..—неохотно отвечает Петр Кирилыч.

— Вот еще... теперь у воды без хлеба сидеть не будешь... легко сказать: мельник!..

— Мельник... не диво ли, Петр Кирилыч,—хитро закинула Мавра, высунувшись из-за печки.

— Долго рассказывать... как-нибудь опосля... да мало кто и поверит...

— Чему ж тут не верить: ведь хвакт!—говорит Аким, расставивши руки.

— Да не то, чтобы что, а... так, ежели рассказать все по порядку...

— Расскажи, Петр Кирилыч,—пропела Мавра.

— Кабы не леший... ничего бы не вышло!..

— Ле-еший!—протянул удивленно Аким.—Вот оно что!..

— Только ты, Аким, до поры не болтай... а то, говорит, попадешься на Светлом, враз утоплю!..

— Как был балакирь, так и остался!—говорит Мавра, вынося самовар из-за печки.—У всех людей, как у людей, а у тебя все как в прибаутке...

— Плюнь, Петр Кирилыч, у них все так всегда... что-нибудь да не ладно: нос есть, соплей нету... сопли есть, нос не хорош!

— Ну ты, складный!..

— Известно, недовольная порода!.. А ты вот что, Петр Кирилыч, скажи... как же это старик-то согласился? В нем ведь дурости этой накачено: на всю волость хватит!..

— Спиридон Емельяныч хороший мужик.

— Куды ж еще лучше: ничего не видя, а уж... архалук на плечи...

— Рукавок вот подплатать только,—говорит заботливо Мавра, щупая на Петре Кирилыче армяк.

Уставила Мавра с самого краю к себе большой самовар, рассадила ребят по лавке кругом, вынула из стола блюдца и кумочки и первому Петру Кирилычу нацедила покрепче.

— Кушай, братец родимый!

— Ну, Мавра,—говорит Петр Кирилыч, первый раз за все время улыбнувшись,—приедешь, смелю мучку, будешь целовать ручку....

— Ох, не оставь, Петр Кирилыч,—ссурьезилась Мавра.— Спиридон всегда намелет наполовину с песком!.. Решето не берет!

Едва успели выпить по чашке, как по всем окнам забарабанили пальцы, словно град пошел; в стекла уставились тесно любопытные лица чертухинских девок и парней: неизвестно откуда вдруг разнеслась по всему Чертухину весть, что Петр Кирилыч невесту нашел.

Кто говорил, что берет он-де у гусенского дьякона, а кто даже и у самого попа Гавриила в тех же Гусенках—у того и у другого был на руках подмоченный товар: у дьякона девку звали рупь-двадцать-пять по причине ее весьма чудной хромоногости—идет, словно отсчитывает, а у попа родонула и от кого родонула совсем неизвестно... так, говорили бабы, ветром надуло!..

Вот теперь, дескать, Петр Кирилыч и будет мужичить с этой поповской лежалой кутьей.

Про Машу пока и помину никакого не было, видно, и за девку ее никто не считал.

Мавра заметила дозорщиков в окнах, поджала строго губы, встала, словно ее шкнули, и, выпятив слегка выпиравший живот, заспешила к двери. Аким с Петром Кирилычем не шевельнулись.

☆

Мавра вышла на крыльцо и громко на все село крикнула на холостых:

— Что вам тут, хаплюги, поседки, что ли? Чего прилипли?

Из-за угла вывалили парни, впереди косоротый Максяха, сельский заводило по девкам и дракам, за ними, закрываясь передниками и смущенно улы-

баясь, девки; глаза завистливо горят, по щекам жар пышет, видно, слухи о женитьбе Петра Кирилыча сильно всех разобрали.

— Ну, что, голопятники, пострел вас не возьмет?—еще раз стрельнула Мавра, держась за перильцы.

— Говори, Мавра Силантьевна, кого Петр Кирилыч засватал?—крикнул Максяха.

— Да вам-то что за напасть такая?

— Да у нас тут большой спор зашел из-за этого: кто говорит на дьяконовой рупь-с-четвертаком, кто на поповой родихе,—голосисто зазвонила из-за девок Дурнуха, вся так в стороны и расплывшись скуластым, засыпанным частыми веснушками лицом.

— Сделай милость, Мавра Силантьевна... У нас так, гляди, до кольев дойдет,—пожимаясь вторят парни.—Антирес большой имеем.

— Ишь ты!.. Уж знамо не на тебе, дурная харя,—огрызнулась Мавра на Дуньку.

— Как бы не так... А сама на выгоне проходу не давала... Тьфу!—доплюнула Дурнуха к самому крыльцу.

— Из сопли не вырастет конопли!..

— Чего разлезлась, как квашня на боку?—заступился Максяха.

— Не плюй у ворот, где ходит народ. Чего ей, дурному чорту, надобно?

— Ладно, ладно, Мавра Силантьевна... Ты уж беспременно нам только изложи, кого Петр Кирилыч берет... а то...

— Што: а то?..

— ...весь дом разнесем!..

— Разнесем, Мавра!—кричат за Максяхой холостые.—Что вы украли, что ли? Эй, разнесем!

— Хаплюжники!—снизила голос Мавра.

«Разнесут ведь,—думает она,—косточки не оставят!..»

Подперла Мавра щеку рукой и, нехотя будто, ответила:

— Спиридон Емельяныча дочку берет.

— Непро-о-мы-ху!—раскатилось в толпе вместе со смехом.—А мы-то сдура чуть не передрались!..

— Грош да полушка, базарная цена!—пропела Дунька и низко поклонилась Мавре.

— Фуня!—отпалила ей Мавра.

— Ну, коли что, Мавра Силантьевна,—подошел к самому крыльцу Максяха, держа шапку в руках и отводя Дурнуху в сторону,—придем песни петь...

— Не оставьте, милости просим!

Мавра поклонилась в пояс с широкой улыбкой.

— Хмель в пиво, в постель крапива!—визгнула Дурнуха, прячась за девок.

— Милости просим... милости просим!—еще раз Мавра поклонилась и, просиявши во все лицо, вернулась к мужикам в избу.

Холостежь разобрала девок по рукам, всем стадом тронулись на середку, и скоро оттуда под коровий мык и лошадиный топот—пастух гнал по выгону стадо—донеслась до Петра Кирилыча насмешливая песенка:

У балакиря есть сани,
Без кобылы едут сами!
Ой, уедет наш жених
Из Чертухина на них!

☆

В эту ночь не взошел уж, как потемнело, над Чертухиным месяц: посветил да и будет! Избы стояли, словно черные монахи возле дороги, и за селом по полю и к лесу вплотную грудилась непроглядная темь. В одной только избе у Акима в окне горел огонек: Мавра ради такого случая зажгла перед образом Миколы лампаду и оставила ее на полном свету на всю ночь.

Под лампадой сидел Петр Кирилыч, облокотившись на руку, и о чем-то, видно, крепко думал. Бог его знает, о чем. Петр Кирилыч был на простой взгляд... чудной человек. Только должно: все о том же!

Только если взглянуть бы в окошко в ту ночь на него, так можно было бы подивиться: уж то ли так его облила светом лампада, то ли еще почему, только весь казакин на нем каждой ниткой так горьмя и горел, и то ли кудри это у него так золотились в лампадном свету, то ли с иконы упал ему на голову венчик,—едва ли бы кто разобрал: у Мавры, с делами да с ребятней, на стеклах висит паутина и похожи они на мутные спросонья глаза; сами-то они уперлись в дорогу, в землю глядят, хотя едва ли что видят, а в них... хоть всю ночь просмотри, припавши к стеклу, а едва ль... едва ли что взаправду увидишь...

Г Л А В А   В О С Ь М А Я

БАЛАКИРЕВА СВАДЬБА

ДВЕ УСТИНЬИ

Правду думал Петр Кирилыч про Спиридона, что мужик он был непонятный: есть над чем голову поломать, хитро было все прилажено в человеке, и винтики, как в заморских часах, для простого глаза совсем незаметные.

Потому по внешности мало кто заметил перемену, происшедшую в Спиридоне после одного случая с ним...

А случай был действительно очень чудной...

☆

Незадолго до приезда Феклуши как-то молился Спиридон Емельяныч в своей тайниковой молельне. Ни снов ему перед этим каких-нибудь таких неподобных не снилось, и думать об чем-нибудь таком он давно уж забыл, да, видно, многое с нами в жизни бывает не потому, что мы этого ждем или хочем.

Уж то ли на этот раз напустил Спиридон свыше меры ладанного дыму в подполицу, то ли чересчур переложил еловой смолы в большое кадило, только когда он в середине службы со

всей своей торжественностью расхлебястил царские двери и возгласил: «Со стра... хом... бо... бо...»,—как тут же осекся и чуть не уронил с головы чашу с дарами... Поглядел Спиридон Емельяныч в угол: баба! Поглядел в другой угол: еще баба!

Плохо рассмотрел их Спиридон, только, было, вышел он из алтаря с дарами над головой, обе бабы склонились перед Спиридоновой чашей и в глазах у него прочернели бабьи затылки, повязанные в кашемир, как у монашек. У одной из-под шали на диво такая пушистая коса в прозолоть рассыпалась по всей широкой спине, на кончиках игривые курчавые завитушки, как подвенечные кольца, а у другой овечьим хвостом болтается сбоку...

Муть ударила в Спиридона с черных кашемировых шалей, и по каймам, как обгорелым на незримом огне, забахромились черные кисти.

Спиридон взглянул на одну, взглянул на другую, чуть даже шатнулся, но испуга своего не показал и не вымолвил ни одного слова.

Собрал Спиридон в себе силы и с дрожью в густом и темном своем, как стоялое сусло, голосе дотянул торжественный и самый любимый возглас с дарами над головой: «...о... о... жи... им и ве... ве... рою... приступите!..»

«Как это они только сюды попали?—мелькнуло вслед в голове Спиридона.—Неужли Авдотья-полула?.. Так ведь Авдотья в Москве... и не Машка... Главное: две!..»

Бабьи спины разогнулись от этого возгласа, и Спиридон прижмурил глаза, и из глаз у него покатились на пол золотые колечки: перед ним по правую руку стояла первая его жена, а по левую—вторая!..

Почему-то первым делом подумалось Спиридону, что обеих их звали по-одинаковому: обе они были Устиньи.

Только первую некогда звал он ласково Устинькой, и когда после ее смерти прошло много незапамятных лет, похоже было на то, что на самом-то деле никакой Устиньки не было, а что Спиридон вычитал это о краснощекой столоверке в своей волшебной книге в главе о непорочной деве и потом примечтал на сонную душу. Велико горе было тогда у Спиридона, и с этого горя он долгое время не верил смерти жены. Бывает так неожиданно уходят люди из дома—пойдет в лес за грибами и назад уже не вернется. Часто видели Спиридона, бывало, за гусенской околицей, повечеру долго стоит и словно кого-то ждет, упершись в дорогу... Глаза у Спиридона не глядели на баб, не видел он Устиньке равных!

О второй Спиридон мало жалел, хоть и помнил.

От второй живая память осталась: две девки!..

☆

Стоят бабы перед Спиридоном, одна высокая и стройная,—на картинку ее рисуй, со щек так и стекает розовый жар, пышет круглолицый, слегка

пушком покрытый румянец, другая же, как хворостинка возле дороги, с обглоданной зайцами шкуркой, такая же бедная, словно обкраденная, как и при жизни... Глядят обе они на Спиридона странными улыбающимися слегка, но такими пустыми, словно выпитыми глазами, и на губах у них у обеих большие печати—наподобие тех, какие видел Спиридон на казенных пакетах.

«Уста наши закрыты, Спиридон, уста наши закрыты,—как будто хотят они сказать Спиридону выпитыми глазами,—раскрой наши уста!..»

Спиридон даже молитвы не сотворил против такого навождения,—может, не догадался от неожиданности, а может, забыл на этот час все молитвы,—повернулся он, как всегда, неторопливо на месте и шагнул в глубь алтаря.

Не глядя перед собой, словно спасаясь от призрачных баб, закрыл Спиридон алтарные створки и тут же припал на колени к яслям, в которых лежал спеленутый в золотой возду́х Христос рождающийся.

— Буди мне грешному... акаяшке безумному!—шепчет Спиридон, склоняясь перед своею святыней.

По чину надо бы выйти потом из алтаря из боковой дверки, подойти к Ивану-Воину и к Нилу-Сорскому, постоять перед ними, шопотком читая молитвы, и поцеловать потом обоих святых в самые губы, но на этот раз Спиридон перепутал весь богослужебный чин и вылез из алтаря, когда, видно, немало время прошло и Спиридону

даже есть захотелось... Как там никак, а все живой человек!

Вышел Спиридон из боковой алтарной дверки, крадливо и испуганно сначала оглядев все углы в молельне. Думал Спиридон про себя, что пока он был в алтаре, обе его супруги, по добру из молельни убрались той же дорогой, которой пришли, но не тут-то было: стоят обе по углам и усердно отмахивают поясные поклоны.

— Честнаго и животворящего хреста...

Спиридон глубоко передохнул и занес над головой для благословения крест, пронеслась у него в голове, кажется, вся земля перед этим крестом и прошли какие ни на есть на ней народы и люди (из глаз Спиридона валила темь большими кругами). Обе бабы сорвались с места, словно кто их сразу столкнул, и неживыми шагами заколыхались к алтарной ступеньке, на которой стоял Спиридон и шатался, как большой дуб на сильном ветру.

Что дальше с бабами было, Спиридон хорошо не успел рассмотреть, понял он только, что совсем возле него бабы затеяли ссору: кому первой к кресту прилагаться!

— Мне... мне...—страстно трепещет большою печатью молодуха,—мне... мне: я умерла от Спиридоновой плоти!..

Выставилась Устинька вся перед Спиридонов крест и заслонила его широкой спиной.

— Мне... мне,—шипит змеиным искаженным росчерком запечатанных губ лядавая баба,—мне... мне: я Спиридоновой плоти не знала!..

Скрючилась вся перед Спиридоном, как согнутая палка под огородным чучелом, и видно, вот-вот сейчас бросится на молодуху.

Не успел Спиридон благословить их крестом,— обе бабы друг в дружку вцепились, черные шали взметнулись и, как большие черные птицы, взлетели в синюю высь домотканного неба, стремглав пролетели над головой пречистой мати, лампады убавили свои огоньки, свечи согнулись от сильного ветра в бока язычками, и на иконах зашевелились темные лики.

Победоносец к самой груди Спиридона приставил длинную пику, и Архистратиг над самой, кажется, его головой занес с иконы огненный меч.

Ни жив и ни мертв стоял Спиридон с поднятым высоко для благословенья крестом, слышал он только, как под ногами у него тряслись половицы и как с горящего лба его катился соленый пот, попадая в глаза и звонко стукая о тяжелую шитую ризу.

Ни мысли никакой не промелькнуло в голове Спиридона, ни молитвы мало-мальской на ум не пришло, видел он только, как топочутся у него перед глазами две бабы, спутались у них в ногах подолы, цепкие руки вклещились в косы и со спины Устиньки катятся вниз на молельный пол золотые колечки, а с лядавой бабы большими лоскутами падает черная темь.

Тихий стон шел по молельне, отдаваясь жутко в углах...

Долго ль так простоял Спиридон, трудно ска-

зать, только одна Устинья стала одолевать другую Устинью, подмяла ее под себя, как овцу в стрижку, и лядавая баба притихла и начала на глазах у Спиридона пропадать, пока совсем в половой щели не пропала.

На том месте, где она топошилась, остался только смешной хвостик от чахлой косички, выдранной пьяницей-мужем, рванула этот хвостик Устинька и со всей силы бросила от Спиридоновых ног куда-то в темный угол молельни.

Видно было по всему, что столоверка сильней и проворней.

Дивно стала она оживать в памяти, проясняться каждой чертой, сквозь черный покров ее странного одеянья зарозовели полные, как дубенские берега по весне, круто налитые груди, затрепетали, как некогда в благодатную ночь на четвертый год после их свадьбы сильные руки, и ото всей Устиньки пошло на Спиридона тепло, и ветерок душистый подул ему в бороду от прерывистого и жаркого ее дыханья.

Показалось в сей миг Спиридону, что за алтарной перегородкой на духменном сене в овечьих яслях радостно вскрикнул младенец, как в первый раз кричит каждый из нас, появляясь на этот свет из материнской утробы, с потолка чуть повернула в ту сторону скорбную голову пречистая мати и с тонких губ ее слетела нежная улыбка, и сизо-золотая голубка заметалась пылающими крыльями над головой молодого спаса, входящего на иконе в тихие Иорданские воды.

Просветлел на лицо и сам Спиридон; плач младенческий стих, и с ним сразу все стихло в мольне, на пенушках еще ярче располыхались язычки от свечей и на самый разный манер изо всех углов замигали лампады.

Чует Спиридон, что лежит сейчас Устинька перед ним в глубоком поклоне, обхватив розовыми крепкими руками его большие сапоги, слышит он, как колотится об пол ее сердце, отчего и у Спиридона спирает в груди и к горлу подваливает из самого нутра жар и холод.

«Спиридон... дон... дон...»—слышится Спиридону ее голос, запечатанный, еле доходящий до смертного слуха.

Видно, и впрямь примечтал Спиридон молодую столоверку, вычитав из книги «Золотые Уста»: как живая лежит она перед ним, раскинувши истомные руки и раскрывши уста. Спиридон не выдержал испытания, выронил крест из занесенной руки на ступеньку и припал к ней головой:

— Устинька... Устинька...

И спала с Устинькиных губ большая печать, тянется она к нему пылающими губами, порозовевшими от жаркого дыханья, шепчет она ему слова непонятные, тайным смыслом наполненные, и каждой ниткой станушки дрожит.

«Дон... дон... дон...»—звенит в ушах Спиридона мутовочный звон.

Кажется Спиридону, что рвет он на Устиньке ворот суровой рубахи, добираясь до теплых грудей, жмет их уже в горячей ладони, и Устинька

бессильно уткнулась ему в бороду и шепчет в самые уши:

— Тише, Спиридон... Ради оспода, тише!..

☆

Когда Маша вошла к вечеру в молельню, она застала отца лежащим врастяжку на полу перед алтарем; крест валялся в стороне на ступеньке, и сам Спиридон тяжело дышал, словно на что навалившись.

Маша подняла крест с полу и осторожно окликнула отца:

— Батюшка!

Но Спиридон ничего ей не ответил и не шевельнулся. Видит Маша, что уперся он локтями в пол и судорожно приложил ладони к самому сердцу.

«Чтой-то с тятенькой?..» — немного согнулась Маша к отцу, но окликнуть еще раз побоялась.

Положила она свой малый начал и неслышно, на цыпочках, скользнула из подполицы—решила она, что Спиридон замолился.

Скоро и сам Спиридон показался из подполицы. Выглядел он за столом, как и всегда, ничего такого заметного у него на лице не было, не охотник он был суропиться.

Только с той поры, когда выходил Спиридон поутру на крыльцо, он подолгу простаивал на нем перед молитвой, веселыми глазами оглядывая розовеющую на восходе Дубну и сладко потягиваясь, как молодой... Видно, как вспуганный с

чапужной берлоги медведь, вломился в Спиридонову кровь поздний жар и истома, оттого и шел от этой потяготы только хруст и треск в локтях да под домашней холстинной рубахой на груди и спине жутко перевивалось скопленное за немалые годы воздержной жизни települ буграстое тело.

ДЕВИШНИК

Удивительно было Маше больше всего, почему это Спиридон Емельяныч не наложил на нее своей запретной заповеди и так скоро безо всего согласился выдать ее за Петра Кирилыча.

Знала Маша хорошо нрав Спиридона, а потому спросить его самого о чем-нибудь побоялась: так зыкнет, что свету последнего не взвидишь!

И так Маша подумает, и этак в уме приложит, а все вроде как не выходит. Прикинула также и то, что ничего из этого запрета с Феклушей не вышло, только рябуху себе раньше поры завел Митрий Семеныч, и что от великой обиды этой у Спиридона отлегло от заповеди сердце, одним часом подумала даже, что Спиридон просто отступился от веры, но спохватилась, и вслух сама себя назвала полудурой.

И вправду: земля скорей перевернется кверху ногами, чем Спиридон отстанет от веры... Ухлопал он на эту веру целую жизнь!

Даже плюнула Маша, но так до поры и не смогла разгадать Спиридона.

☆

На третий день или на четвертый, как Петр Кирилыч после сговоров возвратился с братом с мельницы в Чертухино, к Маше после обеда привалили большим стадом девки.

С утра день нахохлился, как петух на жерди. Над чертухинским лесом еще на заре повисла строгая пепельная бровь, словно кто оттуда подглядывал за мельницей на берегу Дубны, и с самого утра моросил как из сита теплый дождик-травник. Трава такой дождик любит...

Спиридон был почему-то не в духах, может, оттого, что от всех этих хлопот да приготовлений к свадьбе у него весь день уходил на заботы по мельнице да по хозяйству и некогда было всласть отсидеться в подполице, куда к каждой службе теперь приходит безвестной дорогой Устинья, хотя и на улице то же: нет-нет да и кивнет Спиридону откуда-нибудь из темного угла и тут же на глазах пропадет. Спиридон только и успеет моргнуть, ступит шаг, а в углу уж нет никого, только сердце заколотит по ребрам.

Маша торчала у сундуков—надо было все приготовить и пересчитать: в старое время любили сряжать девок как следует, да и баба не галка: ей и подушка, ей и кадушка!

Наполнено было сердце у Маши за этими грядами до края еще невиданным чувством тайной и непривычной радости. Маша бережно укладывала в порядок вязанки, полушалки, полотно и

одевалы, и улыбка не сходила с ее наклоненного над сундуками лица. Редко подойдет она и заглянет в окошко: девок ждала!

На дворе же, как на грех, было неприютно и неприглядно, бедно на хмуром свете зеленела острая травка, которую щипали у дома нахохленные индюшки, и на каждой травяной усинке висела крупная и чистая слеза.

Только с приходом девок вроде как все повеселело, запрыгали и заколыхались в глазах Спиридона, вышедшего из мельничного приделка встретить гостей, разноцветные цветы на девичьих сарафанах, подул от их подолов душистый сарафанный ветер, и, словно спелые яблоки падали, в самое сердце бил круглощекий задор и румянец.

Стар был человек, годам счет потерял, а молодому, кажется, бы не уважил!..

— Здраствуй, Спиридон Емельяныч, курочку пришли щупать, скоро ли яичко снесет?..

В ушах у Спиридона, как в молодости бывало, только: дон... дон... дон...

— Доброго добра... идите, идите с богом: Машенька там... в горнице.—Непривычно ласков Спиридон, и даже сам своему голосу дивится: такой он у него теплый да душевный, а сам взглянуть прямо не может, уперся себе в сапоги и руки развесил.—Доброго добра!..

Девки лущат семечки, весело глядят на Спиридона, распушились подолами с широкими сборами, и от ситцевых их сарафанов идет свежий душок, которым пахнут сарафанные цветы после стирки.

Не ахти какие девки, таких, как Феклуша, в нашем месте раз да обчелся, баба по нашей округе больше в плечи да в грудь идет. Зато уж здоровья хоть отбавляй, и на подъем выносливы!

— ...доброго добра...

Спиридон повернул в приделок, а девки подошли к крыльцу, взялись за руки и затянули прощальную песню:

> Ой, как в заводи по паводи
> Утка-рябушка что надумала.
> На волне крылом трепыхалася,
> На далек отлет тонко крякала...
> Ой, да как наша Машенька
> Собирала свое приданье,
> Заплетала золот волос,
> Во весь голос плакала...

Маша выскочила, было, к девкам на крыльцо, но так с занесенной через порог босой ногой и осталась: звонко ударила в нее девичья песня, и от девок пахнуло, как с утреннего поля за ворот, свежестью, румянцем, здоровьем, понесло от них женской силищей, которая в какой хочешь жизни не сдаст, какую хочешь молотьбу и колотьбу вынесет, заполыхало от подолов у Маши в глазах, и коленки у ней подогнулись...

Стоят девки у крыльца полукругом, стыдно Маше своей убогости да неприглядности, закрыла она пустую грудь рукой, глядя, как у девок выпирают они из расфуфырок, словно дразнят чахлую Машу.

Ты склонись, склонись ко земле,
Частый ельничек, зелен березень,
Проплыви мимо утицы,
Пролети, сизый селезень...
Ты пройди, не оглядывайсь,
Раскудряш-мужик Петр Кирилович,
Не жми белых рук у околицы,
Не целуй в уста у задворушки,
Не рви пуговки-перламутицы,
На белой груди не мни перушки!..
В бороде Машенька заблудится
Отец с матерью забудится!..

Маша схватилась за дверной косяк и заплакала.

☆

До самого вечера прохороводились девки у Маши.

Дунька-Дурнуха то расплетала Машину мочальную косу, то туго заплетала ее, инда у Маши от боли сами падали слезы... Да и по обычаю полагалось плакать Маше: какой там жених ни на есть, а невеста на девишнике должна, когда такое место в песне выпадет, врыд выть, иначе счастья у молодой не будет, после плакать придется, когда муж за косу таскать будет.

Шут их знает, стариков, может, и правда, много было разных обычаев, и дурных, и хороших. В обычае само по себе плохого ничего нету, от него жизнь веселее!

☆

Разбежались глаза у девок, когда они перебирали Машины сундуки: не одни иконы в свое

время покупал Спиридон, когда торговал дегтем и маслом... Да и после столоверки осталось почти все новенькое.

— Добрища-то!—шепнула Дунька на ухо Маше,—за всю жизнь не износить...

Маша только улыбнулась от Дунькиных слов.

Раззавиствовались теперь девки, что Петр Кирилыч женится на Маше. Мужик был Петр Кирилыч все же не забулдыжный, не пьющий и хоть лентеплюх самый настоящий, так это до время со всяким быть может: охомутается, шею натрет, любой воз повезет!

Сидит Маша перед большим зеркалом в большой передней избе, бледная и с таким жалостным лицом, что взглянуть на нее больно. Девки вокруг, сложивши на полных грудях начисто вымытые руки, тянут песню за песней визгливыми голосами, высоко забирая в концах, с подвывом. Маша опустила руки и смотрит в пол перед собой, сидит, не шелохнется; рассыпались у нее по узким плечикам бесцветные косы, и Дунька перебирает их в сильных руках, затягивая в тугую косоплетку и завивая на кончике белую атласную ленту. Маша же боится взглянуть хорошенько на девок. С радостью бы убегла она сейчас к жерновам на мельницу, да надо справить чин чином. Песни у девок печальные, голоса протяжные, вроде как то же по крюкам поют:

Не во синем небе солнышко
Посередь остановилося,
Головою на оконушко

Наша Машенька склонилася...
Не ясен месяц в облаке...

Хорошо знает Маша, что мало она похожа на это солнышко, про которое вытягивают девки, чует хорошо, кто такой ясный месяц, и в сердце у нее при этой мысли проходит большое тепло, и к горлу подкатывает горячий клубок, от которого сами катятся счастливые слезы.

Не верит еще Маша своему счастью, к тому же, неизвестно еще, что скажет Спиридон Емельяныч, когда будет благословлять их под венец, может, как раз к этому-то благословленному часу и приберег он свой непонятный запрет. Чуег Маша, что отцовского запрета ей не вынести.

☆

Запотчевались, запелись девки около Маши до самого вечера, раззарились на сундуки, перемерили Машины сарафаны и все пересчитали как следует, чтобы потом какого недомолвку насчет приданого не было. Не ради одной потехи были эти обычаи...

К самому вечеру только на пороге незаметно показался Спиридон Емельяныч, в мучной пыли с головы до ног; в длинной своей поддевке он был похож на святого, сошедшего со старой иконы. Нахмурились у Спиридона волчьи хвосты, стиснулись губы в строгую суровую улыбку, когда он оборвал девок на новой запевке.

— Вы бы, девки, кончали свою визготню. Отправили чин, да и к стороне... Потчевались?

— Премного довольны, Спиридон Емельяныч,— говорят смутившиеся девки, обернувшись к Спиридону. Разинулись они на него, а Маша еще ниже опустила голову.

— Все срядила?—спросил Спиридон Машу.

— Все, батюшка,—ответила Маша, не подымая головы.

— Значит, гоните подводу... перевозить можно!

Хоть и входил Петр Кирилыч в дом к Спиридону Емельянычу, а сундуки все же должны были по обычаю побывать под жениховой кровлей, люди должны видеть, что не голышом Маша за Петра Кирилыча идет.

Пожелали девки Маше счастья на прощанье, Маша роздала им девишенские ленты, которые сколько годов зря в сундуке пролежали, повязала на голове по-бабьи платок и вышла проводить девок на крыльцо.

Дубна дымится перед вечером тихим дымком перед плохою погодой, ласточки низко чертят по воде тонким крылом, и стрижи с радостным визгом носятся друг за дружкой на своей стрижиной свадьбе вкруг отцовской мельницы.

Всплакнула было Маша, целуясь по ряду с девками, но Спиридон показался у нее за спиной на пороге и пристыдил Машу до настоящих слез.

— Не мокрись больно-то... и так, глядеть на тебя—не заглядишься... Дуре радоваться бы надо, а она тоже—в слезы!

Девки переглянулись при этих словах Спиридона, незаметно фыркнули в рукава, поклонились

молча Спиридону и, взявшись за руки, стройной волной поплыли к воротам на выход:.

Вдоль по морю,
Вдоль по морю-морю синему...

Маша убежала в горницу, навзрыд бросившись в открытый с добром сундук, а Спиридон долго смотрел на девок с порога и, должно быть, с устатку, немного шатался.

ТОТ СВЕТ

Долго не могла Маша заснуть после ухода девок на жаркой постели, должно быть, переплакала на девишнике, глаза горели, как надсаженные, и плакать оттого еще больше хотелось, теперь уж без всякой причины.

Спиридон тоже рано уклался: к хмурой погоде мужика тянет в сон, как вьюна ко дну, потому что мужик чует погоду спиной и боками.

Слышит Маша, как перебирает крохотными пальчиками небольшой дождик по стеклам и как шуршит и шепочет по тесовой крыше над головой ночной ветер. В дому от этого шурха и шопота какая-то тишина особенная и нерушимая, слышно в ней даже, как кровь по жилам стучит и как облизывает вкусно лапу на печи завившийся в клубок кот Фурсик и как за стеной на дворе трудно дышит с сочной первой травы корова Доёнка.

Радостно Маше прислушиваться ко всем этим привычным домашним голосам, ловить на глаз и слух все эти добрые знаки обильного домохозяйства, ради которого наполовину живет каждый мужик и каждая баба.

Тепло в избе и сердцу тепло от мысли, что всего у них слава богу, не за чем в люди ходить да займаться, и хоть немного на дворе скотины, зато мельница и под навесом четыре больших нашеста поконистых индюшек и кахетинских кур, в саду пчельник о пятидесяти колодках стоит, дом—слава богу: не у всякого такой по обширности да по добротности, чего ни хватись, в сундуках все найдется, одного только, самого главного недоставало—заперта была у Маши утроба, как амбар с хлебом.

Работала она, как лошадь, и за себя и подчас за Спиридона, когда тот к часу засидится у себя в подполице, и все это копилось не знамо в какую прорву.

Нет благодати в доме, в котором от века ребенок в люльке не хныкал. Какая елка в лесу, и та старается вырастить возле себя внучку или оставить внучонка!..

Хорошо Маше теперь подумать, что жизнь скоро совсем пойдет по-другому, и еще больше от такой думы подкатывали к самой глотке слезы и голова горячела.

Обо всем передумала Маша и к полночи, когда пропели первые на дворе петухи, понемногу стала уже забываться... В полузакрытых глазах у нее

сначала поплыли сарафанные подолы с большими цветами величиной с заправский мак или ранний подсолнух, потом сдвинулась с места стена, и в красном углу покосился на-бок образ с горящей на весь свет лампадой.

То ли Маша в этот миг совсем заснула, то ли только затомела и напротив заснуть не могла, переплакавши за день, только после петушьего крика Маша будто привстала с постели и, одною рукою упершись в подушку, а другою схватившись за сердце, внятно расслышала, как на отцовской половине скрипнула дверь, по половицам кто-то прошастал в валяных туфлях, и сам Спиридон глубоко вздохнул, грузно перевернулся на другой бок, и под ним на весь дом хряснули доски. Спиридон спал на голых досках, хотя на день сам взбивал пышно перину и в голову горы подушек: боялся Спиридон людского осуда и в святые хотел пробраться тайком!

Помнит Маша, что ворота сама она заперла на тяжелый поперечный засов и накинула большой крюк на крыльцовую дверь, и все же ей показалось на этот раз, что к Спиридону кто-то в эту минуту вошел: шуркнули шаги за перегородкой, и сам Спиридон спрашивает будто придушенным шопотком:

— Чего это ты так седни пропала?.. Я уж наполовину выдрыхся. Ох, тяжел к старости сон!

Маша даже привскочила и ноги с кровати закинула, держась обеими руками о закраек и вся так и подавшись в ту сторону, откуда слышался

голос отца, обычный голос Спиридона Емельяныча, каким он всегда говорит, когда чем-нибудь очень доволен или чему-нибудь рад, и другой, тихий и ласковый, совсем неизвестный, какой Маша у себя в дому слышит впервые.

То ли это дождик прошуршал по крыше, словно с веника, то-и-дело сбрызгивая её капелью с березы, то ли мышь шелестела в углу, только Маша, уставившись в перегородку, хорошо в домовой тишине различила ночной разговор:

— Петух меня не пускал, Спиридон! Того гляди, так глаза вот и выклюнет...

— Хороший петух! Ни одной курицы не пропустит... Топтун-петух! Турецкой породы...

— Они, турки, все такие!

— Садись, садись, Устинька... Отдохни с дорожки!..

— И то, Спиридон, устала... Идешь-идешь... как, бывало, на богомолье... Зато дорога прямая: как по шнурочку!..

— Шнур-то огненный?

— Не знаю!

— Шнур-то, говорю, по писанию, через геенну протянут!..

— Геенны, Спиридон, не видала и врать не хочу... Знаю только, как за гусенский погост зайдешь, так и иди все прямо в гору!..

— Гора, говоришь?..

— Торова́-гора прозывается... Только никуда не сворачивай... никуда не оглядывайся... пока

не упрешься в голубой сад, а вокруг сада—золотая ограда!..

— Вешки-то хоть есть по дороге аль нету?..

— Столпники по дороге стоят... столпники из мужиков больше были: жисть стояли и там батюшки стоят, дорогу показывают!..

— А хорошо, Устинька, на том свете?.. А?..

— Хорошо, Спиридон, уж так хорошо... как, Спиридон, весной на земле! Душок такой идет ото всего, как от первого листочка!..

— Думаю так, что не плохо!.. С крайку да в райку! Приведется ли только побывать?.. Ты же вот говоришь, что в самую-то середку тебя все же не допускают.

— Не допускают, Спиридонушка... Бабам и мужикам туда нету допуску. Кто удостоен, живет возле самой ограды... вместо дома каждому калинов куст растет... калина ягодами кормит, когда почиваешь, а как проснешься, у самых ног побежит живая водичка...

— Ишь ведь как хорошо... а туда вот нельзя!..

— Полно, Спиридон: и то хорошо!.. Лучше кус во рту, чем калач на базаре...

— И то правда... все не врата адовы!

— Совсем недалечко... они... эти врата... Только с виду-то понаружи их ничуть и не страшно... тоже с коньком и такие же большие, как и у тебя на мельнице, а за вратами, как в кузнице: дымок такой всегда оттуда идет, и большие молотки стучат, грешников долбят, гвозди в пятки вколачивают, на ребра обручи раскаленные нагоняют!..

— Кирилл Русалимский об этом явственно пишет в четвертой неделе о великом посте... Ты водички-то мне да ягодок как-нибудь принеси...

— Принесу, Спиридон, принесу... как умирать только будешь, так и принесу... целый подол принесу!..

— Страшно мне умирать... С краешку где-нибудь да в раю!..

— Онамеднись, Спиридон, вышел ко мне за врата Петр с ключами и говорит: «Ты, Устинья, теперь хорошенько следи за Спиридоном.... как бы перед смертью не натворил чего такого... ты уж, говорит, на последних годах лучше сама с ним поспи, а не то чего бы не вышло!..»

— И сам я, Устинька, чую!..

— Свалит,— говорит,— Спиридона чорт возле самой дороги и в ад сволокет... А он бы,—говорит,—как раз нам пригодился!..

— Ну?.. Так и говорит?..

— Да... Сторож, говорит, к ограде был бы хороший!.. У него силенки-то,—молодого такого наищешься!..

— Да, силы слава те осподи... сила-то и крушит больше всего... Ох, Устинька, не покидай ты меня до последнего часа!..

— По домашности тоже ему, говорит, помогни... Девка у него под хвостом чешет... Ну, да по убогости ей все прощено будет... Пусть, говорит, Спиридон ослобонит ее от запрета... Убогую плоть искусить, что дерюжку золотом вы-

шить... оттого вере христославной большой убыли не будет!..

— Я и сам то же надумал... Митрий вон с Феколкой не выдержал: самуху, люди говорят, завел.

— Да ведь, Спиридонушка, заповедь-то больно трудна... Лучше, кажись, камни в гору таскать али воду с реки решетом, только не это... Все равно, Спиридон, дальше сторожей никуда не пойдешь!.. Слаб еси человек... особливо же женской природы... Маша к тому же убога... ей и грех не в грех будет... Кто на такую польстится?

— Да уж: палка палкой, ничего не скажу... Вся в родимую матушку! Да теперь, слава Христу: парень не ахтишный, но мне подходящий... В веру ко мне просится!..

— Дух у тебя такой, Спиридон!

— Нешто кабы!.. А то и вера... и мельница моя сгинет ни за што ни про што!.. Трудно мне, Устинька, стало одному.

— Одна плашка не горит, не тлеет, только дым чадит!..

— Да я не о том, Устинька: бога мне, Устинька, моего передать с рук на руки некому!... Вот что!.. А чую, что... скоро...

— Скоро, Спиридонушка, скоро!.. Петр-то мне за то и вычитывал: ты, говорит, устрой там у него все по-домашнему, да за ним-то самим, за ним последи!.. Спи с ним последние годы, потому теперь на вас на обоих нет уже никакого греха!..

— И то, Устинька, ляг: третьи петухи поют!.. Ишь ты какая парная... словно из бани...

— Тише... тише, Спиридон... ради оспода... тише!..

И в ушах у Маши от этого шопота словно затихло. Грузно только Спиридон задышал за перегородкой, словно камни понес на высокую гору, и с этими вздохами еле различимо для Маши перевивается ласковый, тонкий и нежный дышок, каким исходит женская грудь, когда на нее ляжет тяжелая мужичья рука.

Кто это такое так беседует со Спиридоном? Маша то ли сквозь полусон, то ли сквозь полуявь не могла догадаться, только ни страху она под конец не испытала, ни удивленья, как будто так все и надо бы было.

Прилегла она на подушку и стала глядеть в большой паз в стене, в котором сидел большой черный таракан и водил сверху на Машу большими усами. Боялась Маша тараканов, но на этот раз и таракана она не испугалась. Перекрестила голую грудь и... зевнула. Проспала Маша до второго света. Утром подбежала к окошку и подивилась: у окна стоит Акимова кобыла, и Спиридон укладывает на дроги сундуки с Машиным приданым, перевязывая их крест-на-крест веревкой.

Аким стоял поодаль, без шапки; шапка подмышкой.

Маша перекрестилась на сундуки и стала одеваться.

Когда немного погодя Спиридон вошел в избу, Маша стояла перед образом и усердно клала

утренний начал. Спиридон даже не дождался, когда Маша кончит молитву, подошел к ней, ласково потрепал ее по плечу и сказал:

— Хунды-мунды твои, Маша, отправил... Свадьбу у Акима играть будем... Эх, жалко, Феколку проводили!

Маша не по уставу зачастила перед иконой, никакой молитвы с поклонами не читая: она вспоминала ночной разговор и боялась на отца оглянуться.

ИЗГНАНИЕ ПОПА

Вверху, немного повыше облака—бог, а в селе под облаком—поп, колдун да староста.

Всего и делов в старину! Это теперь заблудишься в начальстве, хуже чем в темном лесу.

Бывало мужик без колдуна да попа ни одного мало-мальски важного дела не начинал.

Мужик так рассуждал: попа не уважишь, так за это на том свете зачтется, а есть он на самом-то деле, тот свет,—кто его знает?

А колдуна коли обойдешь, так он тебя до самой смерти будет мурыжить, присадит каменный волдырь на причинное место и будешь ходить раскорякой, пока ему корову на двор не сведешь.

Слава богу, теперь у нас доктора, колдуны вывелись, последний колдун в нашем Чертухине Тихон Усачев перед войной схоронился.

Не успел он передать своего искусства, а передается оно на венике после бани или на собачьем хвосте.

☆

Немалая задача была у Акима и Мавры, кого позвать к Петру Кирилычу на свадьбу: Ульяну—наговорную бабу или Филимона из Гусенок.

Филимон не нынче-завтра ноги протянет—за девятый десяток, а Ульяна еще в силе, ярует еще, как молодая, и живет под боком в своем селе, Чертухине, каждый день мимо окна по воду ходит...

К тому же Филимона позвать, веселья от него никакого не дождешься, а Ульяна хоть и вредная баба, но зато песенница большая, плясать горазда и на язык краснобайка...

Думали, думали, решили: Ульяну!..

— Поп Микалай сам придует, и зазывать нечего. Никиту Родионыча только надо упредить.

— Остальные придут—милости просим, а не придут, так нам больше останется!—сказал Аким в заключение этой беседы и по привычке почесался довольно в боках.

Называлась такая свадьба: по колоколу.

☆

Отец Микалай был попишка с виду совсем немудрящий... Ризы ему всегда перешивали. Какую коротель ни привези, все равно будет волочиться сзади хвостом. Но при малом таком росте провористый был попик, смешливый, с красными щечками всегда, и хоть годов было тоже немало, а с бабами любил пошутить. Нередко матушка

заставала его то на гумнах, то в подполице с казачихой: выбирал всегда отец Микалай на лето казачиху помоложе да какая погрудастее. Говорили, что отца Микалая попадья даже бивала не раз—женщина была видная,—но от баловства этого не отучила.

Служить отец Микалай долго страсть не любил, не любил мужиков затруднять молитвой, в Пасху и то, бывало, еще рассвет не ударит, а у него уж давно все разговелись...

А как по домам в престол пойдет обходить по приходу, так еще хорошенько на крыльцо не ступит, а уж за кадило и в нараспев... Полопочет-полопочет перед иконой, вертясь головкой по избе, никто ничего хорошенько и не разберет из этого лопотанья, к тому же дьякон при нем на голос тоже ленив, а дьячок только так, больше для прилику. Да, пожалуй, и понимать-то рядовому мужику тут особенно нечего, так лучше: сунешь двугривенный батюшке в рукава—и дело с концом. Дьякону—гривенник... дьячку—семитка! Да еще как довольны-то были...

Так от дома к дому живо все село обегает, глядишь, к вечеру телега разным доброхотным подаянием набита стогом, и христосовальники сзади идут, в плетенках яйца несут попадье.

Однако мужики все же любили отца Микалая: простой, встретит, всегда что-нибудь пошутит! Да и то надо сказать, небось, надоест каждый день: бог да бог!

☆

Обкрутил отец Микалай Петра Кирилыча наскори. Не успели опомниться Петр Кирилыч с Машей, как уж отец Микалай схоронил их головы под передничком и промусолил что-то над затылками, не дал и венца-то Максяхе подержать как следует над головой Петра Кирилыча, клирос рявкнул так, что вся церква словно кверху поднялась. Не мудрая в то время была церковёнка, стояла также на отшибе, деревянная, главный колокол весил всего сорок пудов, зато маленьких колокольчиков встречать попа было на колокольне как на лошадином ошейнике, и подчас не поймешь, что это Лукич, тогдашний звонарь, большой мастак своего дела, ударил к вечерне, стоя с загнутой головой в веревках от колокольных язычков, как в паутине, или Петр Еремеич выехал со двора на праздничной тройке застоялых коней.

Родня вся полезла целоваться, редко кто не был уже на полном ходу, Максяха стоял с оскаленной рожей и словно боялся уронить из рук золоченый венец, тянул его дьячок к алтарю... и совсем рядом теперь Спиридон: распушились у него волчьи хвосты и глаза так и мечут по церкви недобрые огни.

— Страмота-то, сынок, какая... Ты Машку-то седни не трошь... я вас завтра провенчу по-настоящему!.. И к жизни путь преподам!

Петр Кирилыч кивнул Спиридону, а Маша опу-

стила глаза и еще больше сдурнела. Не шел к ней подвенечный убор. Поглядел Петр Кирилыч на Машу, инда сердце у него заныло.

Народ повалил на выход, и к самой церкви подкатил на тройке с лентами в гривах коней Петр Еремеич.

«Эх, у Спиридона не то...—подумал Петр Кирилыч в последний раз оглянувшись по церкви,—тут и святые-то смотрят, словно в тебе что подозревают...»

Звонарь ударил сразу во все колокола, в большие и маленькие, с колокольни сорвались голуби и сизым облаком закружились над Чертухиным.

☆

Народу набилось к Петру Кирилычу на свадьбу—все Чертухино!..

Кто посмелее—за стол попал, а кто только к окнам добрался, да через плечи голову успел высунуть в сенях. Родни не ахти было сколько, да и свадьба выдалась на Марфу-Навозницу, а в эту пору мужики спешат, все дороги, как рогожкой, покрыты дворовым настилом, опавшим на колеях с перегруженных телег.

Уселся отец Микалай, благословивши трапезу, дьякон рядом, дьячок поодаль, жениха посадили по середке стола с невестой, Аким вроде как за отца об руку с Петром Кирилычем, а Спиридон—с Машей.

Чинно все так пошло, хотя разговору пока не завертывалось, всем как-то было вначале не по

себе, может, и оттого, что попа стеснялись, да и не выпили еще как следует. К тому же Петр Кирилыч сидел за столом больно хорош, так на картинку его и сымай, и больно Маша рядом с ним казалась дурна и убога. А этого и в деревне не любят, хотя редко обращают вниманье.

Петр же Кирилыч словно не замечал Машиной убогости и невзрачности,—взглянет на нее бочком и улыбнется, а Маша покраснеет, только не во всю щеку, как девки краснеют, а пятнышками, словно кто ее всю исщипит.

— Дурачок-то наш?.. А?..—шепчутся девки, разинувши на Петра Кирилыча рот.

Сбились они в кучу возле дверей и посреди чертухинских баб были похожи на правский мак в гущине огородного репейника: стоят, сложивши ручки, как на духу, ожидая своей очереди, когда кто из свадбишных гостей потороватее разойдется да выкатит за песню из кошеля на ладошку рублевку...

— Ну, и парочка: баран да ярочка!—цедит Дунька-Дурнуха.

Но пока на девок никто и не смотрит, жениха с невестой еще не отславили. Мавра Силантьевна с ног совсем сбилась, рассаживая гостей по местам и расставляя глиняные блюда и чашки. Бычка-годовичка Аким зарезал на свадьбу и Мавра запарила его с луком, из ног и головы сделала студень, а кишки и брюховину зажарила на сале вместе с картошкой: у свадьбы брюхо велико, все к концу подберут!.. Каждого надо пригласить,

попросить да отпотчевать. Бабы и мужики, пока не глотнут чистой водички, любят ото всего отказаться, бабы—губы бантиком, мужики так только ладонь вытянут, дескать, вот как сыт из дома; потом сами требовать будут, только подставляй!.. Любит мужик поманежиться!

Подошла Мавра к Ульяне и что-то шепнула ей на ушко. Ульяна встала и к Мавре за печку. Скоро она вышла оттуда с большим подносом в руках, на подносе деревянная птица, которых хорошо вырезáл Аким из обрубков на праздниках, отдыхая после работы, меж крыл у птицы полощется на ходу пиво белой пеной: колдунья по обычаю должна была первая поздравить жениха с невестой. Все так и вытянулись на Ульяну, но на этот раз она выкинула совсем неподобное, поставила она на стол поднос с птицей совсем против Спиридон Емельяныча и развела перед собой народ. Так все и шарахнулись в сторону, сжимая друг друга, чтобы очистить Ульяне место возле стола.

Оправила Ульяна на себе сарафан, подол взяла двумя пальчиками в обе руки, оглядела всех очень хитро, щелкнула язычком, притопнула каблучком и словно сбросилась с места:

Поп
В лоб
С крестом!..
В топ
Чорт с хвостом!
Чики-чок каблучок!..

В бочок
Кулачок!.
Чики-чики-чики-чок!..

Отец Микалай сначала было улыбнулся по несмышленой своей доброте, дьякон лениво зевнул, поглядевши в упор на Ульяну, дьячок Порфирий Прокофьич крякнул в рукав и заморгал неживыми слезящимися глазами. Ульяна огрела их всех за столом мимолетным кивком, брызнула звонким прищелком, отец Микалай встретился с ней глазами и посолодел, придвинул он к себе миску и ковырнул вилкой большой кусок бычьей ляжки.

— Дьякон, ешь!—шепнул он дьякону в ленивый зевок.

— Выпить бы, отец, поначалу надо!..

— Трогать ни-ни: сан ты али нет?..

Отец дьякон оглядел стол и неохотно потянулся в миску.

— Сан: себе сам!

Мавра подскочила к ним и словно в извинение за оханство Ульяны подсунула большое блюдо с кишками:

— Кушай, батюшка... Ешь, отец-дьякон... потчевайся, не гляди на людей, Порфирий Прокофьич!

— Спаси осподи,—осклабился отец Микалай, дьякон гривой мотнул, дьячок глазком стреканул!

— На отцов едун напал!—переморгнулись тихонько за столом, но все так к лавкам и прилипли и слова никто не проронил во время Ульяниной пляски, даром что многие были под хмельком.

Чуяли, что не все еще выплясала Ульяна, дальше толще будет.

Носится Ульяна вихрем на малом пространстве, но никого и рукавом не заденет, только ветер от нее в лицо, и всякий сторонится и жмется подальше от нее; передние теснят задних, а те и совсем ничего не видят, так высунулись, чтобы только головами торчать...

Остановилась вдруг Ульяна на полном ходу против отца Микалая, прищелкнула так, что у дьякона кусок во рту застрял, и затопотала на месте; в заду словно два больших жернова под сарафаном ходят:

Эх!
Грех
В орех!..

Отдернулась и платочком на Петра Кирилыча:

Сладко зернушко в рот!..

Впилась Ульяна в Спиридона, как сова в ворона, перегнулась за стол, инда Спиридону показалось, что Ульянины бобыльи груди выпрыгнули к нему на тарелку, только моргнуть успел Спиридон.

Ух —
В дух!
Ах —
В пах!

И Ульяна уже отлетела.

И-эх! Веселись народ!..

Отец Микалай поел немного бычка, дьякон попрежнему сидел безучастно, тускло глядя в пустые стаканы, дьячок только глазами еще чаще моргал, знаком показывая Мавре, что сыт, больше не хочет, Ульяна ж опять подскочила, хлопнув на ходу Мавру по заду, чтоб не мешала, прищелкнула, притопнула и снова цветы сарафанные посыпались к отцу Микалаю под стол и сильный ветер подул на мужиков, инда на затылок завернулись масляные скобки:

Плюнул
Чорт в попадью:
Обернул и бадью!..
Клюнул
Чорт попа:
Обернул в клопа!..
Хлопы-лопы-топы-топ!
Весело было штоб!

Поп Микалай видит, что дело выходит для него не на шутку, ткнул дьякону в бок, моргнув дьячку на дверь, бочком-бочком да к выходу. Пока вылезали, Ульяна так и зашлась мелкой каблучковой дробью. Подошел причт к Мавре прощаться да благодарить, поклонился отец Микалай и Петру Кирилычу со Спиридоном, те встали: одно другому не мешает!.. Ульяна тоже вдруг остановилась и протянула обе руки к отцу Микалаю, сложивши их лодочкой:

— Благослови, батюшка!

— Бог благословит!—сказал отец Микалай, отвернувшись от Ульяны.

— Не взыщи, батюшка: свадьба!

Отец Микалай минутку подумал, потом перекрестил Ульяну и ткнул ей в самый рот ручку. Ульяна чмокнула и губы рукавом вытерла. За столом у мужиков ноги так и заходили, как у застоялых коней перед масленцей, и бабы вытянули носы, вот-вот сейчас сорвутся все с лавок, пустятся в пляску, и от сарафанных широких их подолов в глазах свету божьего будет не видно.

КНЯЗЬ СОРОЧИЙ

В старое время не любили сразу, как молодых из церкви привезут, тут же за рюмки хвататься. Не как теперь: одною рукою за рюмку, а другою за нож...

За столом и глазом никто не покосил на пустые стаканы, когда Мавра с Ульяной, кланяясь в пояс, вышли проводить отца Микалая. Даже полегчало у всех: как-никак, а за столом без попа куда просторнее! Бабы встряхнулись, поправили на головах цветные шаленки, а мужики еще шире распустили соломенные бороды, сидят за столом со своими бабами, тесно сжавшись боками, как скирды с ометами в молотьбу возле риги.

Ульяна продралась сквозь девок к столу и хлопнула себе по бедрам:

— Ба!.. Молодых-то мы совсем и забыли!..

— Пра пора, Ульяна Митревна,—кланяется ей Мавра,—стаканы замерзли... Наливайте, сватушки, золовушки, не жалейте-ка головушки!..

Мужики сразу встряхнулись, забулькала в кумочки заливуха, а бабы, жеманясь и опасливо смотря на других, нацедили в стаканы пенистого пива: приготовились все слушать, как колдунья будет величать жениха с невестой.

Ульяна отпила из резной чаши глоточек, облизнула губы, крякнула и поклонилась в пояс молодым.

Я не пашеньку пашу
Да не полосу,
Уж я холю да чешу
Князю волосы!..
Уж и как же ты, соха,
Столько вынесла?..
Уж и где же ты, сноха,
Только выросла?..
Вот уже князь так князь,
Не видали отродясь:
Станом—клен!
Нравом—лен!
Не простого царства ён!..

Ульяна поджала губки бантиком и поклонилась Маше. Маша чуть привстала возле Петра Кирилыча, отпила из Ульяновых рук небольшой глоток и вытерла губы шелковым платочком; опалила ее Ульяна прищуренным кошачьим глазком, холод у нее пошел от этого глотка к самым пяткам, Маша еще пуще побледнела и с опущенными руками опустилась на лавку.

Я не поле бороню
Да по скороду,
Уж я холю да ровню
Князю бороду!..

Уж и как ты, борона,
Столько вынесла?..
Уж и где ты, борода,
Только выросла?..
Вот уж князь так князь,
Не видали отродясь:
Что умен!
Что холен!
Не простого царства ён!..

За столом лица у всех посвежели от песни, зацвели улыбкой бабьи круглые щеки, и на всякую теперь любо смотреть, даром что корявы и нескладны. Хорошо выходило у Ульяны потчеванье молодых. Всякий мужик бывает раз в жизни, когда женится, таким князем, на которого все глядят во все глаза и которому каждый рад услужить... Да где только это царство, в котором и взаправду идут мужики за князей, а бабы и девки за королевен? Видно, и впрямь это царство—Сорочье!..

Отпил Петр Кирилыч глоток и поклонился.

Ульяна скривила на него тонкие губы в незаметную улыбку и поставила поднос с птицей на стол против Спиридона. Взяла одной рукой сарафанный подол, другой одним махом сорвала с головы красный платок с большими кистями и закружилась с ним на одном месте: помолодела она, кажется, в тот миг на двадцать годов, выпрямилась, как старая береза на весеннем ветру, глаза округлели от света и по впалым щекам заиграл плотный румянец, смешавшийся с вечерним отблеском солнца.

Неживая Маша сидит, украдкой взглядывая на Петра Кирилыча.

«И впрямь: какой он мужик? На барина больше смахивает,— думает Маша, перебирая глазами кольцеватые кудри на голове Петра Кирилыча.— А может, это мне все, дуре, грезится да снится?»

Пошелохнулась Маша на лавке, тронула Спиридонову полу, в угол поглядела: не сидит ли в пазу таракан, который каждую ночь снится ей не знамо к чему. Усинки даже тараканьей не видно... Хочется Маше, чтобы Петр Кирилыч к ней обернулся да опять ласково поглядел, но и Спиридон и Петр Кирилыч да и все за столом совсем будто и забыли про Машу: с притопыванием, с прищелкиванием, с красным платком над головой допевает Ульяна поздравную песню, и Спиридон только все дальше забирает бороду в рот и щурится на Ульяну.

Соберу я во лесу
Росу мокрую,
Поднесу я поднесу
Чашу до краю!..
　　Чтобы князю да пилось...
　　Спелось колосу!..
　　Чтобы мне, младой, спалось,
　　Не кололося!..
Вот уж князь так князь,
Не видали отродясь:
　　Уж и чем не угощен,
　　Чем не потчеван?..
　　Не простого царства ён,
А...Сорочьева!..

Отродясь не слыхали чертухинцы такой песни. У баб слюнки в зубы пробились, мужики поширели на лица, а девки у двери вытянулись, на Ульяну разинули рты и еще пуще зарделись.

— Ну-ка, Спиридон Емельяныч, пусти дурачка в голову!

Взглянул Спиридон на пенную птицу, и словно большая волна ударила в него с разбегу, в голове закачалось и в ушах звон пошел: дон... дон... дон!..

— Пей, пей, Спиридон Емельяныч! Не выпьешь, молодых счастья лишишь, долю убавишь!..

Спиридон взял в руки со стола свадебную чашу, встал с лавки и не замечает, как кончик его бороды окунулся в шипучую пену. Ульяна махнула девкам платочком, и те, словно сорвались, сразу взяли на полный голос последнюю песню на отцовский пропой невесты:

Заиграла в непогодушку волна,
Заневестилась молодушка одна...
Ой, засватана, сговорена она,
По охоте, доброй воле отдана!...
За волной, волной от лодочки волна,
За подруженькой подружка от окна.
Ой, да воля, воля девичья вольна,
Ой, да доля, доля бабья солона!..
Не круши души, чужая сторона,
Не топи, волна, на донушко челна,
Не пролей ты да не выплесни вина!

— Пей, Спиридон Емельяныч, пей!—поклонилась Ульяна.

Спиридон поднял деревянную птицу к губам и потянул через крыло, только на донышке оставил.

— Батюшка!—испуганно шепнула Маша, видя впервые, как Спиридон тронул хмельное, но Спиридон и не взглянул на Машу, передал он пиво Акиму и осмотрел стол чудными глазами.

— Глотни, сват! Доброе пиво!..

Аким заворотил голову и выплеснул в рот все без остатка, ударил чашкой по маковице, выскочил через стол и в присядку: ноги под потолок, замахал словно в драке большими руками по сторонам, должно быть, перехмелила Мавра свадебное пиво:

Эх, мать твою вошь!
Хошь рупь,
Хошь грош.
Приголубь!
Приворожь!..

Ульяна встала с Акимом в пару, Мавра было высунулась из-за сварбишников одернуть Акима за офтоки, но тот только еще выше ногами саднул: мужика в таком виде только ножом остановишь! За столом застукало враз, запершило в мужичьих глотках от заливухи, поднялась чихотня, гоготня, вилки, ножи скрестились в чашках с годовалым бычком, словно на битве, стаканы, кажется, сами заходили по столу из рук в руки, гомон и бабий визг и девичья песня вскружили, подняли кверху всю избу, и она на больших ко-

лесах покатилась по большой чертухинской улице догонять упавшее в это время за лес хмурое солнце.

Мужики, бабы, девки,—все кишмя-закишело в глазах у Маши и от сарафанных подолов ни Петра Кирилыча, ни Спиридона, ни света божьего, кажется, ей больше не видно.

Г Л А В А   Д Е В Я Т А Я

КУПИНА

СОН-ТРАВА

Пропала в нашем чертухинском лесу сонная травка, и в самом народе перевелись колдуны и колдуньи...

Красивые цветы были у сон-травы, посмотришь на них и словно это смеются со стебля лукавые девичьи губы, и меж розовых губ дразнит тебя язычок, и белеет два ряда, как кипень, зубов... Этой травой колдуны и колдуньи девок лечили от худобы, от засухи сердечной, да и от разных болезней трава помогала, только редко кто с травой умел обходиться...

Корнем сон-трава уходила в землю на три аршина, и волшебную силу имели не листья, похожие на расставленные по сторонам руки—так вот и хочут, кажись, тебя за ногу схватить, когда ты с корзинкой по лесу идешь за грибами,—и не цветы, а самый последний в земле корешок, похожий на пальчик с ножки младенца.

Секрета этой травки и тогда простые люди не знали, а если знали колдуны и колдуньи, так передавали они его только в смертный час вместе с жизнью.

С этой травой во рту можно было сходить на тот свет и назад воротиться, только трудно было тогда приладиться к ней и все довести до конца.

С этой травы человек засыпал и по видимости своей мало чем отличался от мертвеца... Холодел снизу кверху, холод шел по телу, как вода по ветле, с корня к вершине, ни рукой ни ногой не шевелился, а лежал, как положишь, и только блуждал на щеках чуть заметный румянец да из устён шло еле слышно дыханье...

Всякий подумает: умер!..

Потому никакими силами такого человека уже не разбудишь, пока-то он по тому свету все не исходит и не обглядит!..

Надобно было, чтоб месяц в небе три раза родился.

А за это время кого же десять раз не похоронят. Терпенье надо столько проплакать: за спиною работа!

Просыпались, значит, от этой травки в могиле... Потому, должно быть, когда у нас в Чагодуе на городском кладбище в третьевом году разрывали могилы (решило начальство чагодуйский погост оборудовать под сад для гулянья, так и зовется теперь: Мертвый Сад!), так много покойников нашли вниз головой и с руками не на груди, как у всех, сложенными в крест, а в волосах или у рта, зажатыми в грозный кулак: захотел не в срок в Чагодуй назад воротиться, да где тут, ни псаря, ни царя оттуда назад не пускают!.. Теперь у нас нет этой травки, да и слава богу, что нету!..

☆

К полночи мужики и бабы от пива и заливухи совсем ахламели, начали вытворять такое, что если бы видел да слышал, так, кажется, и лопух бы на огороде завянул... Не часто это в деревне и не со всяким бывает, но, надо правду сказать, все же бывает!..

Даже староста Никита Родионыч и тот свалился под стол, тащил к себе за ноги баб, не разбирая какая своя, какая чужая, а тем то ли любо, то ли срамотно—визжат и ноги подолом укрывают.

Видит Мавра, что молодых пора из-за стола выводить, хотя и пиво не допито и гости еще не все разошлись. Аким то-и-дело выводил с почетом на огород мужиков, хотя сам тоже шатался. Ульяна к полночи как провалилась. Сказала, что пойдет на минутку домой и назад не вернулась. Песни у девок не ладились, от хрипоты петухи в горле начали кричать, парни, какие потрезвее, подались на улицу да в гумны—догуливать свадьбу, и в избе стало просторней. Мигнула Мавра Спиридону на молодых, и Спиридон под Мавриным глазом словно проснулся.

— Пора?—говорит Спиридон.

— Пора, Спиридон Емельяныч.

Спиридон встал из-за стола и вывел молодых на середку, благословил их широким крестом постоловерски, а Мавра принесла из кухни большой совок с белой мукой и посыпала к ногам Петра

Кирилыча тонкую бровку. Поклонились Петр Кирилыч с Машей Спиридон Емельянычу в ноги и за руки пошли по мучной дорожке в сени, где из-за теплой погоды была приготовлена новожену постель... Возле чулана девки осыпали молодых хмелем и простились, поваливши стадом на выход, а Спиридон у самой двери еще раз обоих перекрестил...

☆

Когда Маша осталась с Петром Кирилычем в чулашке с глазу на глаз, она не знала от застенчивости куда руки девать, подошла она к стенке и прислонилась, боясь на Петра Кирилыча оглянуться... К тому же, как вошли они в чулашек, вспомнила она свои давнишние сны,—часто Маша замуж во сне выходила,—и кажется Маше теперь, что в снах этих она уже давно видела такой чулашек и так же вот в дощатой перегородке, выходящей на огород, в самом верху было небольшое окошко, и в конце даже стеклышка нет, и небо от этого вот тут кажется совсем близко висит за окном, высунь руку на улицу и ухватишь крупные звезды, и висят они опять в виде большого ковша, наклоненного немного к земле.

Чисто в чулашке, примыла Мавра и пол и потолки для молодых, Аким повесил в угол Акиндия-Мученика, защитника удачи и тишины семейной,—в божественном хотел угодить Спиридону,—и перед образом огонек чуть светится, чтобы бог молодых видел, да и так, чтобы жених в темноте

скорее невесту нашел, когда она от стыда в какой-нибудь угол забьется...

Оглядела Маша тишком весь чулашек: в одном углу кровать постлана под пологом, и на кровати в головах рядом две подушки; в другом друг на дружке стоят Машины сундуки. Радостно и боязно стало у нее от всего этого на пугливой душе.

Петру Кирилычу, должно быть, было тоже не по себе: сидел он на Машином сундуке, в ноги себе глядел и вздыхал, тоже не зная, что делать...

— Машь,—тихонько шепнул Петр Кирилыч.

Но Маша не шевельнулась и только еще ниже опустила голову.

— Машенька!—погромче повторил Петр Кирилыч.

Хотел он ей открыться, что Спиридон на сегодняшнюю ночь запретил ему ее трогать. Маша было шелохнулась в его сторону, но в это время за чуланной перегородкой послышался голос Спиридон Емельяныча:

— Прощенья просим, сватья... Прощенья просим, сват... Прощенья просим!.. Сынок, выдь-ка ко мне на минуту!..

Не успела Маша повернуться, как Петр Кирилыч выскочил в сени и возле самой двери о чем-то зашептался со Спиридоном.

— Ладно... ладно, батюшка, не сумлевайся... как же: несь я с понятием тоже!—слышит Маша шопоток Петра Кирилыча, а о чем с ним говорит Спиридон, не разберешь: в бороде у него, как во мху, каждое слово замирает...

«Должно, насчет запрета»,—подумала Маша, и у ней заколотилось по ребрам.

— Машь, я тятеньку пойду проводить!—весело крикнул Маше Петр Кирилыч.

Маша испуганно высунулась за дверку, взглянула на отца и еще пуще смутилась...

— Прощенья просим, дочка, до завтрева... прощенья просим,—говорит Спиридон.

— Прощай, батюшка!—ответила тихо Маша и сама своего голоса испугалась. Глаза у нее заморгали часто-часто и по щеке скатилась слезинка.

«Как мати скорбящая»,—подумал Петр Кирилыч, глядя на Машу.

— Полно тебе, Машуха, что ты, ей-богу?..—подошел Спиридон к Маше и погладил ее по голове.—Иди, с богом... Укладывайся со Христом...

Петр Кирилыч стоял за Спиридоном и смотрел себе в ноги.

— Ну, сынок, пойдем...—Прощай, сват... Прощай, сватья!..

— Милости просим, Спиридон Емельяныч, милости просим... Не обессудь, коли что...—всполохнулись Мавра с Акимом, низко кланяясь Спиридону.

— Свои люди!—бросил Спиридон, выходя на крыльцо.

Маша чуть не упала, увидя уходящего отца. Мавра подхватила ее под локотки и ласково запела:

— Иди, иди, невестушка... Ишь тебе уши-то как прогалгачили, на ногах не держишься... Иди, иди с богом...

Вошли они в чулашек, и Мавра откинула дальше полог у кровати и поправила стеганое одеяло. Идет от постели приятный сундучный душок и по простынной каемке в самом низу у постели бежит вышитый красным и синим шелком петух, и от него цепочкой впереди с расставленными кверху хвостами куры и желтые цыплята. Машина работа, сама она вышивала, когда сны ей снились про свадьбу...

— Ложись с богом, Машенька, ложись... Дайко-сь я тебе сряду-то снять помогну!..

— Спасиба, Мавра Силантьевна... спасибушки... я немного так посижу... богу помолюсь!..

— Ишь ты как с богом-то свычна... а мы, должно, немоленые на этот свет родились... Так, в лоб постучишь немного, когда на разум придет... Оставайся коли с богом...

Мавра поцеловала Машу, покрестила на постель и притворила за собой чуланную дверку.

☆

Но не хотелось на этот раз и Маше молиться. Так сказала Мавре, чтобы остаться одной до прихода Петра Кирилыча...

Не раздеваясь, легла она на постель, потонула в новой перине и только теперь почувствовала, как она за день устала... От работы так раньше не уставала...

«Ну, да теперь слава богу»,—довольно подумала Маша.

Хороший дух идет сверху, из чуланного оконца, и ковшик золотой все так же висит над постелью... В поле, видно недалеко у села, пастух в ночном на рожке играет, и на реке изредка звонко прокричит крякуха-утка, потерявши в камышах своего селезня, и девки по селу поют:

Утка-рябушка что надумала,
На далек отлет тонко крякала!

«Убога я»,—шепнула Маша сама себе.

Не забыла она про корешок, который висел у нее завязанный в тряпочку на нательном кресте. Спрятала Маша тогда его, как нерушимую тайну, и словом никому не заикнулась.

«А ну, как и правда помочь будет?»

Вынула Маша крестик из-за ворота и развязала тряпичный узелок, потрогала: тут!.. тут! Попробовала на зубок—сладкий...

Мягкий корешок, болотцем пахнет, и сам в рот лезет. Подумала Маша немного, повертела корешок на языке и незаметно проглотила.

☆

Чудно Маше, отчегой-то стало все вдруг видно да и видно-то как далеко... Те же стены перед глазами, тот же чулашек попрежнему, и лежит Маша на постели, сложивши руки на грудь, как умирать собралась, а сквозь стены все видно: и село Чертухино, и церковь сельскую по-за се-

лом, и видно, как ходят по полю за церковью буланые лошади и слышно даже как они щиплют траву.

И лес чертухинский стоит за селом, такой тонкий, видно все сквозь него, и то ли это сосны вдали, то ли свечи в отцовской молельне... По лесу прыгают перед зарей на задних лапках веселые зайцы, а на самой опушке против Чертухина тихо пасется большой лось с золотыми рогами...

И как девишенская лента, оброненная Дунькой-Дурнухой, побрезговавшей Машиным подарком, пролегла из Чертухина кривая дорога... Видит Маша, по дороге тихонько идет Петр Кирилыч в белой подвенечной рубахе со Спиридоном, и Спиридон что-то вычитывает ему, держа за рукав, а Петр Кирилыч только мотает ему головой и, видно, мало слушает Спиридона, потому что то-и-дело оглядывается назад и вздыхает.

— Петр Кирилыч... Петр Кирилыч!—крикнула громко Маша, но голос ее, как камень с горы, покатился к самому сердцу и замер где-то глубоко внутри под пупком, и по всей Маше только глухо, как от дальней грозы, прогудело...

«Не слышит»,—подумала Маша.

Душистый ветерок подул в оконце в дощатой стене, в огороде недалеко от окна черемуха осыпалась цветом, на дворе петух от черемного духу проснулся и пропел три раза, приставши с нашеста, с неба золотой ковшик совсем опрокинулся краем к земле, и из него полилось голубое вино,

заголубело вдали и вблизи, полилось свадебное вино по полю за церковь, где пасется ночное, и черную спину выгнул занавоженный пар, со Светлого болота поплыли туманы, и скоро все перед глазами у Маши в тумане пропало.

Только лось с опушки высоко вскочил на бугор, вытянулся на точеных ногах и золотыми рогами приподнял все небо!..

Видит Маша: низко так, совсем над землей, идет золотая ограда, за оградой синий сад цветет, и на суку в самой середке сада сидит огненная птица Финуст, а у самой ограды—калиновый куст со спелыми ягодами и под кустом из века в век бежит живая водичка.

ПАРЧЕВАЯ ЛАДЬЯ

По-разному судачили люди про Машин конец.

Бабы говорили, что Маша и в самом деле умерла в первую ночь, будто испугавшись мужичьих порток, потому что была перестарок, а иные из них по-другому, потому что и в самом-то деле от этакого страху вообще ни бабы ни девки, если все идет по порядку, не умирают, а совсем наоборот: Маша-де, будто, заснула, как мы только что рассказали, от Ульяниной травки и проснулась, как и полагается, на сороковой день, но из могилы выйти никак не могла, почему после долгое время на нашем погосте чудило: лет десять под-ряд после Машиной смерти под праздники у ее могилки горел издали огонек, словно

теплилась перед невидимым образом небольшая лампада.

Присмотреть же за тем огоньком никто не решался—боялись!

Да может, и врали!

Правда же в том, что и в самом деле Маша в первую ночь от Ульяниной травки крепко заснула, и ее приняли за мертвую.

На другой день Машу обмыли, одели в ту же подвенечную сряду, положили вперед на стол, за которым она сидела на свадьбе рядком с Петром Кирилычем, и руки сложили ей, как на молитву... Пришел отец Микалай, справил все, что надо по православному чину и обычаю, отплакали Машу всласть всей деревней, отпели и на третьёвые сутки схоронили на том самом покате, на котором и сейчас стоит чертухинская церковь, а вокруг нее улеглись в ряды наши деды.

☆

Но редко кто знает про то, что Машу Спиридон вскоре после похорон с погоста украл, сделавши это для всех совсем незаметно, даже холмик из свежего дерна, как был, так и остался. Правда, тогдашний сторож Мирон был уже слеп и мог со-слепа и так ничего не заметить.

Может, это все так, а, может, и этак. Мало кто теперь все равно в это поверит. Ну, да люди как уж там хочут, а случилось это все вот по какому порядку.

☆

Лежала Маша словно живая...

Обмыла ее Мавра теплой водой, в голову положила напутную молитву, обернувши кружком по волосам. На щеках ее попрежнему, как и при жизни, играл едва уловимый румянец, малость только нос заострился да по лицу словно пролили воск, почему и вся она походила на четверговую свечку.

Надо правду сказать: в этот миг хороша была Маша, может, потому, что была она живая, а ее принимали за мертвую.

А может, и потому, что вообще люди ошиблись, не заметили ни этих четко прочерченных губ, как у молодой игуменьи, ни красиво изогнутых бровей с золотцой на самых концах волосинок, ни всего ее лица, похожего на юный лик богоматери, стоящей у колыбели.

Часто так бывает с людьми... Захают, заплюют, а за что?..

Лежит Маша, и все слышит, как на яву, и видит все далеко-далеко, только ни о чем ни спросить, ни сказать не умеет.

И то ли это ударил на землю ясный после непогожего вечера золотистый рассвет, похожий с земли на лосиные большие рога, подпершие небо, то ли пролилось в сердце негаданое счастье, и сердце этого счастья не вынесло,—вернулся в чулашек Петр Кирилыч, проводивши Спиридона за околицу, и положил на подушку с вы-

шитыми по наволоке цветами совсем рядом с Машей свою курчавую русую голову.

— Машь!.. А, Машь?..—слышит она словно с другого берега, но о том, как ей сейчас с ним хорошо, ответить не может, хотела бы она ему улыбнуться, но на губах тяжелый замок.

— Машь! Что ты, бог с тобой!..

Вспомнилось ей, как давеча, когда Петр Кирилыч вошел в чулашек, крадучись, чтобы Мавра с Акимом не заметили его возвращенья, по лицу его сразу разлилась непонятная муть, потому что Маша ничего не ответила на его шопоток и только минуту, показалось Петру Кирилычу, поглядела так-то чудно, отчего у него широко раскрылись глаза и уставились прямо в угол, а руки быстро зашарили в том месте, где под нерасстегнутой расфуфыркой спряталась убогая грудь и под левым соском тяжело билось сердце, словно подымалось в высокую гору. Закричал тогда Петр Кирилыч, хлопнул чуланною дверкой и опрометью выскочил в сени, должно быть, и сам не заметив, что одна порчина хвостом волочится за ним, отчего Маше и стыдно, и немного смешно.

Посреди избы на полу сидели Павел Безрукий и Петька Цыган и прямо через край из большого окоренка тянули еще черное, как болотная вода, пиво.

— По чести просим... По доброй вас совести,— уговаривала их Мавра, но они и носом на нее не шевелили.

— Известные Петра и Павла—два апостола,—

безнадежно махал рукой в сторонке Аким, почесывая затылок,—назюзюкались! Говорил тебе, поменьше хмелю вали!

— Маша-а-а!—закричал на них не своим голосом Петр Кирилыч, вбежавши в горницу с растегнутым гашником. Цыган с Павлом нехотя к нему повернулись, не понимая, зачем это Петр Кирилыч выскочил к ним от невесты, почему с глаз его прямо в пиво капют крупные слезы. Только Мавра сразу, как увидала Петра Кирилыча, ахнула и пульнулась в сени, а Аким сперва руки расставил, а потом подошел к Петру Кирилычу, заглянул ему в широкие глаза и только и сказал:

— А-а-а-а!..

☆

Когда совсем рассвело, в избу к Акиму натолклось еще больше народу, чем вечёрась на свадьбу.

Да в нашем деревенском обиходе и всегда так бывает: подчас весь век собачутся друг с дружкой, а как кто задерет коряжки, так к нему не находятся люди. Иной за всю жизнь при жизни твоей доброго слова не вымолвил, а тут уж беспременно придет, потому мертвые сраму не имут, а навредить подчас могут больше живого... Зато еще издали каждый шапку снимет и возле крыльца слезу смахнет: «Хороший, дескать, был человек!»

По тому же самому кто только не перебывал у Маши, да и было всем за большое диво: в первую ночь!

Должно, что с дури Дунька-Дурнуха желваки наплакала на глаза, и Ульяна от нее не отставала, за их плачем долго Маше ничего не было слышно, так словно лес под боком шумит, говор идет со всех сторон. Только от всего этого плача и причитаний было ей хорошо. После ее одинокой и незаметной людям жизни странно было видеть такое многолюдье в избе и такое внимание, с которым все смотрят на нее, подперши подбородки руками и широко раскрывши глаза.

— Ангелка ты наша, невестушка Маша!—то-и-дело всхлипывала Мавра, подходя к ней и вплотную приникая к глазам заплаканными глазами.

«Чего они все плачут?»—не может догадаться Маша.

Только когда, как вечером говорил уходя, пришел Спиридон и над ней, будто ничему не удивившись, наклонился, Маша, как и при жизни не раз, Спиридоновых глаз испугалась. Спиридон немного шатался, ни с кем не поздоровкался, слова никому не сказал и ни о чем не спросил, словно все сам раньше знал и предвидел, только поцеловал крепко Машин лоб и отошел к сторонке, будто вовсе тут не его дело.

Зато Петр Кирилыч так и не отрывался от Машиной подушки, все время с нее и головы не подымал, плакал он или нет, никому не было видно, только от близости его Маше попрежнему было хорошо... Как-то Ульяна припала поближе к Петру Кирилычу, и Маша ясно различила слова:

— Полно тебе, Петр мой Кирилыч, горе такое, как ребячья слеза: смахни, и снова глаза чистые!

Маше даже понравилось это! А в самом-то деле, чего же теперь горевать Петру Кирилычу! Но тот словно замер.

☆

Так все с утра по избе и крутились дело-не-дело. Мавра часто выбегала в сени, а оттуда, пугливо озираясь на избяную дверь, в чулашек, рылась там подолгу в Машиных сундуках, и на нее сиротливо смотрела брачная постель с непомятой простыней; по каемке простынной попрежнему бежали, как живые, в одну сторону куры с желтыми цыплятами, а впереди их расстановисто шагал к Маше в передний угол большой разноцветный петух с надутым зобом, словно вот собирался громко запеть и все это Машино навожденье вспугнуть и рассеять. Кой-что потихоньку совала из сундука неизвестно зачем под застреху, а ребятишки Мавгины рядком все глядели на Машу с полати, держа у ртов кулачки.

Инда даже все это прискучило Маше.

От усталости да какой-то непонятной истомы у нее понемногу стало перед глазами кружиться. Люди все встали кверху ногами, и сама изба, как старая ветла, вросла крышей в землю и подполицей в небо глядит, по которому идут, не торопясь, серые густые облака, словно пастух перегоняет сельское стадо с места на место.

Всколыхнулось же и уставилось все по местам только к самому вечеру, когда пришел поп Микалай, должно уж, почитай, на третьи сутки, и у Маши в головах и ногах затеплились тонкие свечи. Хорошо Маша разглядела отца Микалая. Золотым парусом на нем, маленьком, вздулась будничная риза, похуже много той, что у Спиридона, рядом с ним дьячок Порфирий Прокофьич частит, словно набрал за обе щеки и никак беззубым ртом не прожует трудные молитвы, отчего глаза у него закрыты, как у кота, и усы немного стопырились вниз.

У отца ж Микалая, как две щелки, глаза только и видно, и в щелках этих сидят два таракана и водят на Машу усами.

«Русаки,—подумала Маша,—а русаки снятся к несчастью, говорила Феклуша».

Потекла жизнь перед Машей, как быстрая вода в половодье. Не успела она хорошенько прислушаться, что это такое теперь поют поп Микалай с дьячком Прокофьичем, как над самой ее головой взвилось со свистом кадило, на грудь ей из кадила упал уголек и от него больно под сердцем зажгло, за кадильным дымом по людским головам на руках, поднятых кверху, приплыла к ней золотая долбенка, околоченная со всех сторон рясной парчей, похожая очень на те, в которых рыбаки на Дубне по большой воде удят рыбу. Машу взяли на руки и тихонько положили на дно, отец Микалай с дьячком еще громче запели, и Маша поплыла, поплыла, как на волне

качаясь на мужичьих плечах. Через плечи им перекинуты для легкости два полотенца, тоже с петухами на самых концах, должно быть, Мавра успела вытащить их с самого дна сундука. Поплыло и Чертухино мимо Машиных глаз, и избы закланялись ей, и совсем близко к околице наклонился лес, прощаясь с мельниковой дочерью, уплывающей в далекое заплотинное царство, иде же нет печали и воздыхания, как пел дьячок Порфирий Прокофьич.

☆

Не в долгий срок отец Микалай управился с Машей. Занесли по обычаю в церковь, там тоже малость попели, покадили, потом оттуда за угол, прямехонько к тому месту, где стоит большая сосна на погосте и под нею—словно нарыл за ночь барсук—желтеет свежим песком на травке могила.

Тут-то, должно быть, и поняла Маша, куда она приплыла в своей парчевой долбенке, потому что бабы, которые поглазастее да на язык поспорей, после всем говорили, что когда поднесли Машу к могиле, то им явственно всем показалось, будто она на один миг в гробу немного привстала и рукой шевельнула, словно хотела тоже проститься,—мало кто это явственно видел, потому что и бабы и мужики по большей части были в головах и глазах еще со свадьбинкой, с хмельком, который после свадьбы сидит в человеке, как чад в закрытой избе.

Ничего такого невдомек было и Петру Кирилычу, потому что все время в землю смотрел, словно боялся обо что споткнуться, ни сам Спиридон, жевавший бороду, не заметил, что, может, и в самом-то деле хотела в последний час Маша с ними со всеми по-доброму проститься, перед тем, как навсегда с людских глаз уплыть в парчевой лодке в холодную яму, похожую на западню, через которую Спиридон ходит в свою тайную церковь.

Заколотили крышку, спустили Машу на дно, и скоро Маша причалила к черному берегу, с которого прямо на грудь ей прыгнула большая холодная жаба, уселась промеж девичьих грудей, уставившись на нее своими неморгливыми, неживыми глазами, отчего под сердцем у Маши стало еще холоднее и еще темнее в глазах.

ЯВЛЕННАЯ ЕВА

По-разному осталась память и о последних днях Спиридона, который не на долгий срок пережил Машу: прожил век человек, можно сказать, как мертвый узел завязал, всю жизнь, кажется, через пропадину шел по тонкой кладинке, а тут... на последнем шагу и споткнулся...

Споткнулся же он все о тот же чортов торчок. Ульяна довела его до дела... Говорили про это тоже кому что вздумается, потому, про одну вещь двух одинаковых слов люди не скажут: один так, другой по-другому. Такая уж наша порода.

Достоверно только одно, что Спиридон в скорости после Машиной свадьбы или после ее похорон, что теперь то же на то же выходит, свою мельницу сжег и то ли и сам сгорел вместе со своей верой и со всеми своими святыми, то ли и впрямь ушел вместе с Петром Кирилычем после пожара. Куда?—было в ту пору мало известно.

Как там никак, а мельница и вправду сгорела, пенушка теперь после нее не осталось.

Место глухое, совсем от деревень на отшибе, пока с ведром да багром добежишь, угольков не останется... Да и пожар-то случился в самый что ни на есть сладкий утренний сон незадолго перед рассветом, почему и зарева никто не увидел: издали да из-за леса можно было подумать, что это месяц перед утром садится или рыбаки на Дубне у Борового плеса развели большой костер, подзывая к берегу рыбу.

Сгорела мельница до последней гнилушки. Долгое время никто и не сведал, а когда кто-то поехал на плес с умолотом, так ни мельницы уж, ни самого Спиридона на плесу не застал, только одно колесо накренилось к воде, вот-вот гардарахнется на самое дно. Долго оно так провисело над притихшей водой, а провисело так, знать, потому, что под ним в то время жили русые дубенские девки.

И посейчас еще, в том месте на берегу, где стоял мельничий дом, если в земле хорошенько порыться, так можно по удаче найти богородичный венчик или иконный оклад, с пустыми глаз-

ками, в которых сияли когда-то в лампадном свету в тайной молельне Спиридона мелкие разноцветные камни, как песчаный дубенский берег в лунную ночь,—солнышко там светит как-то иначе, может, оттого, что место, как пригожая девушка...

Заросло оно всплошную кустами, словно, что хоронят и прикрывают они от людского глаза зеленой полой, пожалуй, стало еще глуше, чем прежде. Такая пустыня, и в пустыне этой вечерние лучи, отражаясь в росе, по кустам висят, как дорогие оклады.

А вот еще совсем в недавнее время брали в том месте неподалеку глину на пробу—хотели большаки там ставить кирпишный завод,—так инженер из Чагодуя приехал, но только под ноги плюнул, потому что всего на аршин от подошвы пошла неудобная земля, белозобина, в которой только мертвым разве хорошо лежать—такая сухая, а так она ни к чему, а Сенька, главная у нас головешка, когда сам было копнул поглубже на штык, да не пошел заступ о что-то упершись, так матюкнулся, что, кажется, родная мать его, косоглазая, царство ей небесное, Домна, высунулась с погоста и покачала на сынка головой... одним словом, большаки в том самом месте вместо глины нашли после Спиридона большое кадило!

Над Сенькой потом пытали смеяться, потому что никто, как он, повел туда инженера.

— Я, говорит, укажу тако-ое место!

А все оттого, что любил все же Сенька к Боровому плесу на лисапете ездить купаться!

☆

Так вот и догадывайся теперь обо всем...

Что Спиридон Машу с чертухинского погоста украл, это доподлинно верно, потому Спиридон Емельяныч никак не мог помириться, чтобы Машу и провенчали так себе, кой-как, а пуще того, схоронили не как следует быть, так чтобы поскорее в ад с лопаты спихнуть.

По Спиридонову же смыслу так выходило, что ежели при Машиной жизни все справить как можно лучше, не торопясь да ничего в молитвах не пропуская, так Маша непременно если уж не в самый рай, так к вратам подойдет, потому что умерла в первую ночь на брачной постели христовой невестой и не нарушила хоть и убогую плоть.

«По всему теперь,—рассуждал сам с собой Спиридон,—душа у нее должна быть ангельского чину...»

К тому же, как узналось потом, Ульяна созналась Спиридону в грехе и все ему рассказала про сонную травку, от которой Маша вовсе не умерла, а только крепко заснула.

Спиридон будто Ульяну простил и даже... взял ее в свою веру, потому что Ульяна тут же, почти после Машиных похорон, перебралась на Боровой плес на жительство. Так они все трое и

сошлись под одной крышей: Петр Кирилыч, Спиридон Емельяныч и наговорная баба Ульяна!

Как уж они там управлялись про между собой, хорошо никому неизвестно, да и не долго тянулось это житье: во первой статье Спиридон Ульяну все же турнул, да если бы и не так, то все равно в скорости случился грех, и мельница сгорела вместе со Спиридоном, с его верой и со всеми святыми, а теперь уж выходит и с Машей, которую он перед этим вырыл с погоста, спрятав в ту же молельню от человечьего глаза, пока не проснется.

Обо всем этом старики наши будто потом, задолго спустя, узнали от самого Петра Кирилыча, потому что Ульяна, хоть и осталась жива после пожара, потому что чуть ли даже не накануне Спиридон с мельницы ее протурил, но от нее никто слова не мог додолбиться.

Да ей и нельзя было обо всем много рассусоливать.

По всему судя, она и тут не обошлась без кромешного дела. К году спустя после пожара Ульяна на старости лет стряхнула девчонку и от людского стыда подкинула ее на крыльцо к дяде Прокопу, который в ту пору только что оженился и жил с краю в отделе, почти у самого леса.

Дело вышло такое, что Ульяне, конечно, обо всем лучше было молчать...

Долго еще потом канючила, побираясь под окнами нищим куском. Нос отрос у ней совсем в сторону

и когтем заворотился вниз: ребята плакали, когда она проходила у окон. Сама говорила, что рада бы смерти, да и смерть, видно, от нее отступилась. Только как-то был такой год в нашем месте: волки всю скотину с дворов перетаскали. Так в этот-то волчий год Ульяна шла по нашему лесу из Гусенок в Чертухино, по старости припозднилась в дороге, набежала на нее волчья стая и у самой Антютиковой тропы загрызла.

Остались после нее только чуни да дырявая нищая сумка.

Туда ей и дорога!

Петр же Кирилыч рассказывал так.

☆

После поминок по Маше, вышло само все как-то так, что Петр Кирилыч безо всяких сговоров пошел на мельницу со Спиридоном.

Только и сказал всего Спиридон, когда Мавра поклонилась на оба конца, на которых стояли пустые чашки после медовой кутьи:.

— Спаси Христос, сватья!.. Пойдем, сынок... И так загостились!.. Ты, Мавра, сундуки себе разбери, что годится, возьми, что негожавое — нищим подай! Добрым словом помянут!

Так было это решение Спиридона необычно в мужицком быту, чтобы зять после смерти жены к тестю жить уходил, оставляя приданое сварливой невестке, что Мавра без слов повалилась в сапоги сначала Спиридону, а потом и Петру Кирилычу, не глядя на обоих, потому что было

Мавре стыдно, сказать же и повиниться, что добрую половину из сундуков она уж давно рассовала на дворе по разным углам—не решилась.

— Ты, сынок, возьми рази с собой один армячишко, который я тебе благословил перед свадьбой, а прочего у меня всего будет вдоволь.

Аким от большого удивления тоже рта не раскрыл, смотрел, моргая глазами, и перестал кланяться им только тогда, когда они повернули на выгон, и Мавра сзади его одернула за офтоки.

— Что тебя завели, что ли, Аким?

Всю дорогу до мельницы Спиридон с Петром Кирилычем не сказали ни слова: Петр Кирилыч потому, что боялся снова заплакать, а знал хорошо, что Спиридон лишних слез не жаловал, Спиридон же потому, что вообще любил больше молчать.

☆

Вернулись они на мельницу к самому вечеру, и весь двор встретил их радостным криком: куры кудахтали, рассаживаясь на нашесты, индюк расфуфырился возле телеги с поднятыми к небу оглоблями, и на ней также безучастно выщипывала из-под крыла, томливо отставленного вбок, белая индюшка. Доёнка сама пришла с небольшого луга за частоколом и терпеливо дожидалась хозяина, облизывая от комаров грузное вымя и часто помахивая хвостом по обоим бокам. Спиридон перекрестился, сам подоил корову, в минуту все по хозяйству управил, на мельницу заглянул, все ли в порядке, и только после вечерней молитвы

подошел ради разгулки к воде и долго смотрел, засунувши бороду в рот, под колесо, откуда зеленели травянистые пышные косы и щерились на тихой вечерней ряби влажные водяные глаза. С самого края за лесом у низко осевшей тучи садилось большое багровое солнце, и плес весь на минуту окатило искристым светом, каждая тростинка у берега четко отпечатлелась в воде, преобразилась, и сама мельница в тот миг словно рухнула в воду и на самом дне перевернулась...

— Жизнь у нас теперь, сынок, с тобой пошла совсем скитская!—сказал Спиридон Петру Кирилычу, когда солнце совсем скрылось за лесом и оттуда протянулись вплоть до мельницы большими лапами тени от тучи.—Скитская, говорю, жизнь!

— Что ж, батюшка, это ведь хорошо!—улыбнулся довольно Петр Кирилыч.

— Плохо ли, сынок, плохо ли... ничего не скажу! Плохо только без бабьего глаза: кривой он, а и то лучше нашего в хозяйстве!..

Так и пошла с первого же дня жизнь на мельнице попрежнему, вся и разница, что вместо Маши теперь к жерновам за засыпку встал Петр Кирилыч. По счастью, и мужики не докучали с помолом, знали, что Спиридону после смерти Маши надобно немного оглядеться, а то неравно так потурит. Приехал к нему как-то в праздник один мужичок,—сшибшись с числа,—так он ему все зерно в Дубну высыпал и самому по загорбу наклал.

☆

Как мы уже знаем, к Спиридону с того света приходила первая его жена Устинька.

По крайности так самому Спиридону казалось, будто это он с Устинькой говорит, как с живой, и она на все ему отвечает, как живая, даже спать иногда остается, только не заметил Спиридон, как ни старался, в какой час она от него сонного уходит.

В самом-то деле, может, и не было около него никого, а так... одна только мечта!

Ночь как-то на третью случилось все по-иному!

Спиридон все по вере и по дому управил, улеглись они спать, а спали на разных половинах: Спиридон у себя, а Петр Кирилыч, где раньше Маша, с окнами в сад: Устинька боялась людей!

Петр Кирилыч сразу заснул, как блаженный, а Спиридону что-то долго не спалось: ждал...

Но напрасно прождал Спиридон Емельяныч на этот раз.

«Должно, седни и ей недосуг»,—подумал так и скоро сам не заметил, как заснул, словно сразу с постели шагнувши в тенистый неведомый сад.

В саду растут деревья изумрудные, с серебряными листьями, с золотыми цветочками, похожими на колокольчики, которые у Феклуши на причастном сарафане. Колокольчики ли эти звенят, птицы ли невиданные и невидимые вокруг Спиридона поют—не поймешь: никто к Спиридону у врат янтарных не вышел, никто не окликнул!

«Экий же рай божий!»—с широкой улыбкой подумал Спиридон, оглядываясь вокруг себя. Огляделся Спиридон, видит, бежит в самую гущу садовую прямо у него из-под ног дорожка, легкой стопой нахоженная, словно парчой разноцветной вышита, и цветы на ней как раз такие же, как и на Спиридоновой ризе.

«Тветы!»—улыбнулся Спиридон и пошел по дорожке, не спеша и ничего не боясь.

Пришел он в скорое время в такое место, что глаз от свету слезой стал у него затекать, ничего сперва Спиридон перед собой не разберет: свет впереди золотистый, и ничего за этим светом не видно!

Сморгнул Спиридон Емельяныч слезу, сморгнул другую, приставил руку к глазам, глядит, перед ним пушистая яблоня, под сучья подпорки золотые приставлены, и с каждой ветки яблоки нависли вплоть до земли, и яблоки эти тоже золотого налива, словно до самого зернушка налитые соком, прозрачным сквозь тонкую кожурку на свет.

— Доброго добра, Спиридон Емельяныч,—вдруг услыхал Спиридон возле самого уха, обернулся он к боку и понял, откуда это такое сиянье по саду: всего-то шагах в пяти от него стоит прекрасная наша праматерь, благодатная Ева, во всей сияющей своей наготе, еле прикрывши только стыд отнесенной легким ветром косой.

— Тебя уж давно тут Устинька ждет!

Опустил глаза к земле Спиридон перед прама-

теринской ее наготой, боялся он ослепиться от пресветлой улыбки, учуял он только руку в руке и по привычному теплу догадался, что подошла к нему Устинька и взяла за руку, крепко зажавши в своей.

— На, Спиридон Емельяныч, яблочко, съешь!— говорит строго праматерь.—От сего яблока пошел к жизни весь род человечий!

— Нишкни, Спиридон, не гляди,—слышит Спиридон Емельяныч Устинькин голос.

Опустил он еще ниже голову, еще крепче сомкнул веки до боли, до того, что голова закружилась и только руку вперед протянул... яблоко ли чудесная Ева Спиридону вложила в дрожащую руку или только слегка притронула ею крепкую Устинькину грудь, от которой некогда яблоком пахло, Спиридон мало что разобрал,—под ногами у него закачалось, в ушах пошел золотой звон и только у самого уха слышит он шопоток:

— Нишкни, Спиридон Емельяныч, нишкни!

☆

Проснулся Спиридон в этот день, как никогда еще с ним не случалось, поздно и сразу, как только поднял с подушки отяжелевшую голову, хорошо учуял всем телом, что лежит он на голых досках совсем не один.

Подумал сначала, что все еще грезит, чуть рукой шевельнул, оглянулся на окна: бело, вспомнил рыжую афонскую девку, и торопливой струй-

кой побегли по Спиридону мурашки. Долго он не решался откинуть от стены одеяло, так бы и просидел с легкой дрожью, не смея пошевелиться, если бы все не разрешилось само—одеяло взметнулось, и в одной станушке, держась за сохлую грудь, встала перед Спиридоном на колени Ульяна.

КОНЕЦ СПИРИДОНА.

Нечего и говорить много про то, что Петр Кирилыч сильно спраздновал труса, когда на другое утро, тоже проспавши первое солнце, вышел на улицу и почти в дверях сткнулся с Ульяной. Он даже в первую минуту подумал, что не лучше ли ему убежать.

Ульяна, видно, шла со двора. Юбка у ней была, как у молодухи, подоткнута выше колен, из-под юбки белела станушка и смотрела она на Петра Кирилыча помолодевшими лукавыми глазами, немного скошенными вбок.

— Молочка парного, Петр мой Кирилыч, не хочешь ли?—сказала она, как будто давно уж жила на мельнице и Петру Кирилычу нечему было тут удивляться, перекинула ловко с руки на руку подойник со свежим удоем, и молоко еще больше вспенилось и зашипело...

— Ишь оно шапкой какой: непременно к вечеру погода свалится!

Спиридон стоял посреди двора и кормил черного индюка хлебным мякишем, увидал он Петра

Кирилыча, и волчьи хвосты так и нависли, вот-вот упадут в темные омуты Спиридоновых глаз, подошел нехотя и, не глядя на Петра Кирилыча, тихо сказал:

— Ульяна седни пришла... Корову у нас будет доить и все справлять по хозяйству.

— Добро, батюшка,—тоже тихо ответил Петр Кирилыч, только на лицо побелел, хотел было рассказать Спиридону, что это за баба Ульяна, но тут же подумал, что и сам Спиридон без него, наверно, про Ульяну наслышан, мотнул головой и повернул к жерновам на мельницу.

— Подождал бы ты, Петр мой Кирилыч... Работа не волк, в лес не убежит, а у меня сейчас живой рукой ватрушки будут готовы,—услыхал он вслед певучий Ульянин голосок, но Петр Кирилыч и не обернулся!

Когда же немного спустя Ульяна с крыльца снова громко крикнула к завтраку, Петр Кирилыч сделал вид, что не слышит.

— Ну, ничего: голод не тетя, сами придете!— отрезала Ульяна, и Петру Кирилычу показалось, что одинаково это было сказано и ему и Спиридону, который попрежнему ходил по двору и о чем-то назоисто думал.

«Чудное дело!—подумал Петр Кирилыч.—Что бы это такое?..»

Так весь этот день и просидел Петр Кирилыч на мельнице, ворочая мешки с бачуринским хлебом, не решаясь и носу высунуть на мельничный двор, по которому то-и-дело моталась то за тем,

-то за другим делом Ульяна. Спиридон же словно про Петра Кирилыча забыл: за весь день к жерновам и не заглянул ни разу...

«Ну, да Спиридон... известное дело: небось отбирает картошку»,—решил Петр Кирилыч.

Только к вечеру вошел Спиридон, словно крадучись и как-то боком пролезши в полураскрытую дверку. В руках у него была большая лопата, толстое ужище свернуто хомутом через плечо и по виду надо было понять, что затеял Спиридон какую-то штуку, о которой до время никому нельзя говорить, чтобы не сглазить, почему и не решился Петр Кирилыч спросить, куда это собрался, на ночь глядя, Спиридон Емельяныч и к чему ведет эта лопата с веревкой: не давиться же задумал сам Спиридон, хотя и это можно подумать—веревка, так тогда к чему же лопата?.. Да и не такой Спиридон человек!

— Прости не равно что, сынок!—ласково сказал Спиридон Емельяныч, вплотную подошедши к Петру Кирилычу, поклонился ему с этими словами в ноги, и не успел Петр Кирилыч ему тем же ответить, как Спиридон уже повернул, спешно вышел за мельничные ворота, твердо ставя ногу на землю и грузно стуча подковами на каблуках по кладинкам горбатого моста.

«Что бы это такое?»—подумал опять Петр Кирилыч, но окликнуть Спиридона так и не решился. Запер за ним ворота на засов и, почувствовав большую и непривычную усталость с работы, поплелся к дому. На голубом крыльце, присло-

нившись к дверному косяку, стояла Ульяна и словно Петра Кирилыча дожидалась.

— Вот ведь как, Петр мой Кирилыч, все вышло,—встретила она его ласково у порога.—А?.. Да несь ты малость поесть хочешь: день теперь коровьего хвоста длиннее, не вдруг проведешь...

Петр Кирилыч вошел в избу и в самом деле вспомнил, что за весь день у него во рту маковой росинки не побывало, подошел сам к голбице, отломил краюху черного хлеба, взял кринку с молоком с залавка и, помолившись, сел молча в передний угол.

☆

Петр Кирилыч ел большими глотками вкусную корку, запивал молоком и читал про себя молитвы, путая их и не разбирая, где концы, где начала, а Ульяна, поджавши губы и сложивши руки на грудь, смотрела в окошко и тоже молчала.

— Ой, Петр мой Кирилыч, погода-то, видно, и в самом деле разгуляется. Мотри, какие волохна ветер из-за леса несет!

В это время наискосок окна прорезала золотая стрела. Ульяна перекрестилась, посмотревши на образ. Петр Кирилыч поперхнулся с испугу и тоже торопливо перекрестился. За лесом бабахнуло, и в крышу ударили редкие первые дождинки, предвещая бурю и ливень.

— Спиридон-то... ой, Спиридон-то, говорю!— пропела Ульяна, оторвавшись от окна.—Ты, Петр мой Кирилыч, закусывай коли так, а я пойду до дождя по двору пока все управлю.

Вышла Ульяна и сразу как гора свалилась с Петра Кирилыча. Не доел он краюхи, крадливо пробрался за печку, приоткрыл наполовину западню в тайную молельню Спиридона и, соскользнувши в ее темноту, захлопнул западню за собой: нечего было и думать оставаться с глазу на глаз с Ульяной до возвращения самого Спиридона. В молельне только в самой глубине, у образа Неопалимой Купины, чуть мелькал огонек из лампады, как будто собирался вот-вот сорваться и улететь.

Не успел Петр Кирилыч осмотреться и встать к алтарю на молитву, как у него над самой головой странный топот пошел и визготня такая поднялась, что слушать и впрямь было страшно, и долгое время, шепча молитвы и сложивши руки по-столоверски на грудь, Петр Кирилыч не мог понять, что это: и в самом деле поднялась за окнами буря и ветер так воет на разные голоса в домовой трубе, отдаваясь жутким эхом в подполице, или же вернулась Ульяна и, не найдя Петра Кирилыча, справляет на свободе свое новоселье.

Сколько так времени простоял Петр Кирилыч, он и сам не знал хорошенько. Дом плясал, как пьяный мужик, и, кажется, сама земля под Петром Кирилычем шевелилась. Должно быть, от усталости потом да от страху приник Петр Кирилыч к алтарной ступеньке, и так, забывшись, пролежал неведомо сколько времени.

☆

Когда же очнулся Петр Кирилыч, было все тихо.

Алтарные двери были раскрыты, по полу стлался ладанный дым, лампады и свечи горели на полном свету, а рядом с Петром Кирилычем в подвенечном наряде лежала Маша в парчевом гробу. Лицо чуть потемнело, и у губ заблудилась скорбная улыбка, словно живая в призрачном свету от свечи, стоявшей у нее в головах.

— Жди, сынок, теперь часа воскресения! — услыхал Петр Кирилыч за собой тихий голос и, испуганно обернувшись, увидал Спиридона, облаченного в ризу.

☆

Хороший был мужик Спиридон Емельяныч, а, видно, так и не удалось ему попасть во святые, ни во что, видно, пошло все его усердие, потому что иначе все по-другому бы кончилось: Маша в свой час проснулась бы, и Петр Кирилыч по-хорошему дожил с ней век, Спиридон бы дождался внучат и умер не столь страшной смертью, как о том рассказывал Петр Кирилыч.

По его словам, дальше вышло все так...

С появлением Маши, между Петром Кирилычем и Ульяной как бы без слов обозначился мир. Вместе обедали, вместе садились утром за чай, хотя за столом по Спиридонову уставу больше молчали, — за едой нельзя говорить. Каждый был при своем деле: Спиридон молился над Машей,

Петр Кирилыч на мельнице, Ульяна круглый день по хозяйству—стирала на них, варила постные щи и в мужские дела не совалась.

Спиридон даже повеселел немного первое время, как удалось ему Машу с погоста спроворить, хотя как это сделал, ни словом Петру Кирилычу не обмолвился, и если заводил разговор, так больше всего по хозяйству, думая, видно, в тайне души своей совсем о другом.

Говорили как-то они с ним о том да о сем; вдруг по двору пробежала Ульяна.

Спиридон разговор оборвал, забрал бороду в рот и потом ни с того ни с сего сокрушенно добавил:

— Плотен мир, Петр Кирилыч, и непреоборим!

Даже сынком не назвал.

Петр Кирилыч хоть и догадывался, в чем тут все дело, но виду Спиридону не показывал, да и рад был, пожалуй, потому что и сам с этой стороны Ульяны боялся: как-никак, а... плоть!

Может, так все и пошло бы у них по-хорошему: Петр Кирилыч дождался бы пробуждения Маши, а Спиридон потом уж как-нибудь отмолил бы свой невольный грех на старости лет, если бы однажды тоже под вечер, много спустя, не вышло у него с Ульяной что-то такое, о чем Петр Кирилыч не только не знал, но и догадаться не мог, потому что с утра в этот день виду никакого не было в Спиридоне: ласков был с Ульяной, попил, поел всего вдоволь и, по обыкновению своему, ушел в подполицу, день прошел, ни разу и не показался.

А под вечер, когда Петр Кирилыч собрался кончать и уставлял уже мешки по стене, вдруг по двору раздался Ульянин истошный крик, от которого от неожиданности у Петра Кирилыча захолонуло сердце. Выглянул он немного за дверь, видит: тащит Спиридон Ульяну за косу по земле, лицо страшное, волосы на глаза сбились и на самые глаза упали волчьи хвосты, поддевка на обе полы распахнута и ворот у рубахи на сторону отодран, откуда багровеет жутко волосатая Спиридонова грудь. Подтащил Спиридон Ульяну к самому плесу, схватил на руки, раскачал и забросил с плотины почти не на середину: только буль-буль пошло по воде!

Петр Кирилыч глаза руками закрыл.

Через минуту к нему вошел Спиридон и выглядел как ни в чем не бывало, спокойный, будто ничего не случилось, сел на мешки и о чем-то глубоко задумался, не глядя на Петра Кирилыча.

У Петра Кирилыча дух захватило, и страшился он Спиридона, и было ему отчего-то в эту минуту так его жалко.

Долго так Спиридон просидел, упершись в носок своего сапога.

Потом с другого берега вдруг раздался смех. Спиридон подскочил к воротам, глянул туда и только равнодушно процедил себе в бороду:

— А я-то подумал утопла!

На том берегу стояла Ульяна и обжимала воду с колен.

— Пойдем, сынок,—говорит устало Спиридон,— запирай покрепче ворота, пойдем... помолимся богу!

— Слушаю, батюшка,—радостно ответил Петр Кирилыч. Привык он за этот недолгий срок к молитве, к тому же в молельне лежала Маша, а с ней ему было лучше, потому что хоть и лежала Маша в гробу, но духу тленного от нее не было слышно.

☆

Никогда еще с таким рвением не молились Петр Кирилыч со Спиридоном: ни одна дырка на пенушках не осталось пустой, каждую лампадку оправили и подлили свежего масла. Спиридон звонил и будто чуял, что звонит последний раз, и потому словно этим звоном хотел оттянуть каждую минуту перед неминучей погибелью.

Петр же Кирилыч ничего не предвидел.

Что Ульяну Спиридон Емельяныч прогнал, так в этом он ничего худого не видел, а только для себя одно хорошее, а предположить с ее стороны какую-нибудь шко́ду в месть Спиридону ему и в голову тогда не пришло.

Молился Петр Кирилыч, не чувствуя никакой усталости, слушал псалмы и молитвы, которые вычитывал Спиридон Емельяныч, и, показалось ему, что Маша время от времени в гробу открывает глаза, посмотрит так на него со Спиридоном, улыбнется и снова лежит неподвижно, и крепко, если наклониться, у нее сдвинуты веки. Так Петр

Кирилыч был занят этой игрой лампадного света на Машином лице, что всякое время потерял.

Только когда у образа Неопалимой Купины сбоку от Спиридона сильно зачадила лампада, он отряхнулся от своего оцепенения, шагнул было к иконе и обомлел: в первый раз так ярко бросились ему в глаза вычерченные золотом суровые слова по закругу, из которого смотрела скорбная мати:

«Огнь палящ творяй духи и слуги своя!»

С боков раскрыли на него страшные пасти два невиданных зверя, и, кажется, прямо на Петра Кирилыча из живого пламени летит с раскрытым клювом большая хищная птица—по правой стороне лестница, по левой врата, и на вратах тоже золотом надпись:

«Иде же никто пройдет, токмо бог!»

Не раз видел Петр Кирилыч эту икону, но никогда еще не видел ее в такой яркости... Вот-вот языки пламени близко касаются Спиридоновой ризы, и из-под ризы у него уже сыпятся искры, и юлит струйкой дымок...

☆

Как тот грех стрясся, Петр Кирилыч сам не мог объяснить хорошенько. Мог и Спиридон обронить уголек из кадила, могла и Ульяна их подпалить, а то—то и другое могло вместе случиться, но Петр Кирилыч сам-то думал, что мельница сгорела со Спиридоном от пламени с образа Купины.

Сразу запахло сильно во всей молельне гарью, как из преисподней, и не успел Петр Кирилыч подбежать к Спиридону и тронуть его за плечо, как по всем углам побежали золотые огоньки, словно языки высунулись из всех щелей, из алтаря повалил большим клубом дым, напирая Петру Кирилычу в нос и все застилая перед глазами. Все сразу пропало: Маша, Спиридон, иконы: будто сошли с них святые и по чудесной лестнице ушли из молельни. Только в самую последнюю минуту, когда Петр Кирилыч бросился к выходу, он обернулся и услыхал слабый стон Спиридона:

— Беги, сынок, беги... Оставь меня, окаянного!

В это время выхлынул большой овчиной из яслей перед Спиридоном огонь и золотой цепью обвил Спиридоновы ноги.

☆

Едва выкатился Петр Кирилыч.

Мельничный дом дымился со всех сторон, и по крыше кой-где уже пробегали золотыми мышками в темноте огоньки.

Чуднее всего было то, что и сарай и пристройки были тоже по крышам в дыму, и изнутри мельницы исходил свет и неторопливо потрескивало, но сообразить и во всем разобраться не было сил у Петра Кирилыча: он как бы в эту минуту немного срахнулся—вместо того, чтобы бежать через мост в Чертухино сбузыкать народ, он опро-

метью бросился от мельницы вправо, через луговину, за которой в то время стоял дремучий нехоженый лес.

☆

Тут... братцы, приходит конец и нашей рассказке про любовь Петра Кирилыча и про Спиридонову веру.

Как подумать теперь да вспомнить про все — давно это было!

Пробегли за годами года, как кони с ночнины большим табуном, спираясь в сельских воротах, вздымая под окнами пыль: ничего, ничего впереди за ними не видно, а если оглянуться назад, так не отличить были от небылицы, правды от выдумки!

Ин и так все равно не повадно: темно у меня в избе, и в глазах у меня потемнело!

Вижу я только одно: приходит и нашей стариковской жизни конец, а конец есть увенчание жизни и делу!

Только жаль вот, что если про эту жизнь рассказать, так теперь уж никакой небылице не удивится никто, а... правде никто не поверит...

КОНЕЦ

СОДЕРЖАНИЕ

Глава пятая. Корчажный звон

Глава шестая. Непромыха

Глава седьмая. Недотяпин армяк

Глава восьмая. Балакирева свадьба

Глава девятая. Купина

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

СТИХОТВОРЕНИЯ.

Кольцо Лады. МТАХС — изд. 2-е.

Потаенный Сад. МТАХС — изд. 2-е.

Дубравна. МТАХС — изд. 2-е.

Домашние песни. Изд. „Круг“.

„Потаенный Сад“. Стихи за 18 лет (в печати). Изд. „Круг“.

ПРОЗА:

Живот и Смерть:

Чертухинский балакирь. ГИЗ.

Сорочье царство. (Готовится к печати)

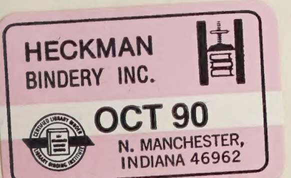
Китежский павлин. (Готовится к печати)

Заяц из двенадцатой роты. (Готовится к печати)

Сахарный Немец. Изд. „Современные проблемы“.

Призрачная Русь. (Готовится к печати)

Спас на крови. (Готовится к печати)


HECKMAN
BINDERY INC.
OCT 90
N. MANCHESTER,
INDIANA 46962

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00005260157